

**СИН
ТАК
СИС**



2

СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

2

ПАРИЖ

1978

Журнал редактируют :

А. СИНЯВСКИЙ

М. РОЗАНОВА

Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции

© SYNTAXIS 1978

Адрес редакции :

8, rue Boris Vildé
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE

...Закончился судебный процес над Александром Гинзбургом : 8 лет лагерей особого режима. 8 лет — за проявление милосердия к лицам неугодным правительству (помощь семьям политзаключенных), за разглашение фактов беззакония и бесчеловечности, фактов нарушения элементарных свобод человека в СССР (« группа Хельсинки »). Парадокс : за то, что человек говорит о нарушении свободы, — его лишают свободы ! За милосердие — наказывают. Вот « внутренняя логика » этого судебного процесса. Но есть еще и « внешняя логика » : после Хельсинки и Белграда, посреди « детанта », демонстрация либеральному Западу непреклонной твердости и грубой силы режима, демонстрация волосатого военно-полицейского кулака — с намерением облагодетельствовать этим способом человечество, приведя его в состояние растерянности и страха.

В свое время следователь КГБ на Лубянке сказал мне весело по поводу возможной « реакции Запада » на мой арест : — Ничего ! Мы их знаем ! Пошумят и перестанут...

На то же самое теперь рассчитаны новые судебные процессы (собранные в кулак) — над А. Гинзбургом, А. Щаранским, Ю. Орловым и другими диссидентами : « Пошумят и перестанут ! А мы тем временем зайдем новый рубеж по части

ликвидации человеческой свободы! А мы тем временем заставим Запад проглотить еще одну пилюлю!..»

Короче говоря — расчет на равнодушие, на страх и слепое уважение к силе: «Мы вам покажем!..»

Практически для Гинзбурга 8 лет особого режима (то есть, самого страшного, самого каторжного режима посреди всех концентрационных лагерей в Советском Союзе, тоже имеющих разные формы и градации) — равносителен приговору к смертной казни. После многих лет тюремного заключения Гинзбург тяжело болен. И этой угрозы — смертью — не скрывают сами органы советской Госбезопасности, 16 месяцев державшие это дело в глубокой тайне, чтобы путем давления на свидетелей, клеветы и шантажа доказать виновность Александра Гринзбурга. Недаром, по сообщению ТАСС, на суде присутствовал врач: чтобы подсудимый не умер раньше времени...

Гинзбург не виновен. Не виновен даже по жесточайшим советским законам.

Спасите Гинзбурга — спасите самих себя...

Париж. 14 июля

Андрей Синявский

Современные проблемы

А. Пятигорский

В СТОРОНУ ГЛЮКСМАНА

В наше время молодой философ боится за свою судьбу, ибо не знает, что это такое. Т. е., он почему-то очень не хочет, чтобы его оплевали при жизни. Или забыли. Он уже не в состоянии быть чудачком, клоуном, кривлякой, вруном. Одному из последних русских и вообще философов — Шестову — было плевать, плюют на него или нет. Его интересовала истина, а не он сам. И когда он в сотнях повторений ругал европейский и русский рационализм (он не делал здесь *этнических* различий — не такой был дурак), то хотел лишь одного: серьезности в стремлении к *истине*, а не серьезности в отношении к *самому себе*. Нынешние философы (и не только молодые) одеваются и ведут себя как клоуны, потому что они на самом деле не клоуны, а *серьезные* люди, боящиеся общества и не *верящие* себе. Вообще, *серьезность* — от неверия себе. Кьеркегоровская клоунада им совершенно недоступна. Вообще, смотря на дело *объективно*, можно в некоторых экзистенциалистах (не во всех) увидеть отчаянную попытку подражать Кьеркегору, имитировать его

как некий *истинный* прототип. Но он-то был *истинен* в своей философской клоунаде, а они, подражая, валяют дурака, ибо не могут больше ни смеяться, ни плакать, как он, бывший Пьеро и Арлекином вместе. Эта цепь дураковаленья тянется с 20-ых годов, теперь столь почитаемых. Цепь почти генетической передачи философской импотенции от старых к младшим. Я бы не назвал это *вырождением* философии. Это, скорее, *естественная* ее подмена чем-то другим, *неестественным* (как в любви : когда нет одного естественного, его подменяют естественно, но неестественным, выдавая последнее за *разновидность* естественного). Так, например, Хейдеггер (хотя сейчас в самолете его читать и трудно — но он этого не имел в виду) был слишком *академически* к себе серьезн, но, все-таки, горячее философское клоунство и в нем прорывалось. Когда же его критиковал Адорно (он, думаю, имел в виду, чтоб его читали в самолете !), то это было не клоунство, а жалкое подражательное трюкачество, с которым и в бродячий провинциальный цирк стыдно лезть.

Андре Глюксман пока экспериментирует. Его книга — «*Les Maîtres-Penseurs* » — превосходный образец *философского чувства* (*sentiment philosophique*). Она ненавязчиво-субъективна (и в этом — ее достоинство) и очень убедительна (ее главный недостаток). Быть убедительным — главное качество актера. Актер не может быть философом : ему *верят*. Если философу верят — он уже не философ, а актер идеологической сцены. Но эксперимент Глюксмана и состоит в том в этой книге, что он пытается оторваться от театра

и прыгнуть в цирк. Это ему частично удастся, но путь к истинной философской клоунаде тяжок и прерывист. И сколько было блестяще начинающих клоунов, которые *испугались* утраты полной потери серьезности и дезертировали из живого цирка в мертвый театр (Бернард Шоу, Андре Бретон, Сартр). Когда Сартр описывает Жэне, мы видим, как актер описывает клоуна. Философ-клоун себя не перечитывает и на себя не ссылается (так Шестов рассказывает о Плотине). Ионеско не говорит о себе в своих пьесах, ибо он — клоун. Он фальсифицирует мертвую действительность, потому что он философ. Глюксман пока еще — на середине этого каната.

У Глюксмана хватило смелости предложить обществу несколько смелых антиобщественных идей. Но у него не хватило *последовательности* довести до конца то, что он думал, или мог бы думать, если бы хотел. Первый шаг был сделан отважно: он противопоставил рационалистическое *мышление* Фихте, Энгельса, Маркса и... Ницше — *бытию несчастных* людей. И по существу отождествил человеческое несчастье со своим «новым антропологическим принципом» (став, таким образом, чем-то вроде «Фейербаха навыворот», ибо Фейербах отождествлял с антропологическим принципом *счастье* человека, а не его несчастье, в чем он, несомненно, был гораздо глупее Глюксмана, что нетрудно, хотя при этом гораздо умнее Лакана, что очень легко). Итак, раз-два-три! Кто несчастен? Евреи, конечно, когда их бьют. Цыгане, бродяги, гугеноты (когда их бьют или били). Педерасты, наркоманы и вообще... кто угодно, когда его бьют. Здесь Глюксман

« схватил », « почувствовал » одну важнейшую черту не Человека, а его Мышления : потенциальность несчастья, как универсалию сознания. Художественно анализируя ситуацию сознания, в которой оказывается любой человек, когда его держат в концлагере, пытаются в камере, травят собаками или « лечат » нейрорептиками, он художественно же обнаруживает, что несчастье есть постоянный потенциальный фактор, а счастье лишь временная от него, нестойкая производная. (Я не думаю, чтобы две с половиной тысячи лет назад философы Индии сочли эту идею новой, но Глюксман живет в Париже, где, очевидно, приходится к таким выводам гораздо труднее). Он-то, Глюксман, en bon philosophe moderne, думает, что это черта общественного бытия людей, живущих в условиях определенных (практически — любых) политических режимов. Но он делает еще один шаг, и говорит, что человека учат быть угнетаемым, и что в основе этого научения лежит классическая европейская гносеология, у истоков которой стоит Рене Декарт — первая мишень Глюксмана. Тот самый Декарт, о котором все лицеисты Франции знают, что он написал cogito ergo sum (« я мыслю, следовательно — существую »), что он поссорился с дьяволом и что он старался не ссориться с Церковью. Глюксман берет эту формулу и строит на ее основе ряд отождествлений (в принципе этот ряд может быть продолжен до бесконечности), позитивных и негативных. Таких, скажем, как : (1) « Я мыслю, следовательно — они не мыслят »; (2) « Я мыслю, следовательно — им не надо мыслить » (ибо я уже это делаю); (3) « Я мыслю, следовательно —

они существуют» и, наконец, (4) «Я мыслю, следовательно — Государство существует».

Ценность и остроумие глюксмановской находки — неоспоримы. Из декартовской формулы прямо выводится не знающий себе равных по идиотизму *одинадцатый тезис* Маркса о Фейербахе, гегелевская идея «отчуждения» во всех ее кофейно-ресторанных интерпретациях: от романтического Лукача до Франкфуртской школы (ха-ха, от ресторана до концлагеря только один шаг!), и сталинская идея надстройки, определяющей в своем развитии базис («Человек создан для счастья, как птица для полета» — говорил Энгельс, а Альтюссер забыл прокомментировать эту гениальную методологическую идею, или у него просто руки не дошли.). То-есть, оказывается, что теория не только изменяет действительность (революционная теория, конечно), но что она *выше* действительности (даже революционной действительности!). И это Глюксман блестяще показывает на примере *русского* (хотя он этого не акцентирует в своей книге) отношения к «неудаче» германской революции, отношения, которое можно было бы сформулировать так (с ленинской прямоотой и сталинской скромностью — или наоборот): «Да, немцы, конечно, просрали свою революцию, но зато... Германия, это — колыбель теории научного социализма» — или что-нибудь еще в этом роде. Слово «зато» выступает здесь как *универсальный методологический ключ* к раскрытию смысла всякой *исторической* ситуации, плохо укладывающейся в рамки теории (формулировка Декарта будет тогда выглядеть примерно

так : « Да, вы *уже* не существуете, но зато я *еще* мыслю »). Однако, Глюксман, делая этот второй шаг, обнаруживает в этой « линии выведения » еще одно качество — *ее аморализм*. В самом деле, что же это такое ? Вчерашние гегельянцы сегодня служат в гестапо ! Но это еще полбеды. Самое дурное, что вчерашние герои студенческих баррикад сегодня рвутся к профессорским кафедрам (и получают их). Классическая методология (« Мы диалектику учили не по Гегелю ») превращается не только в метафору всякого этического обоснования, но и во вполне конкретную экономическую ценность. (Ставлю вопрос : « Может ли Рудди Дучке превратиться в профессора ? » — Отвечаю : « ... »). Правда, вчерашние друзья могут и пристрелить (« Ну, зачем же так сразу... ? ») позавчерашнего идеолога — « по ошибке » или от размаха революционной практики, но ничего, теория требует жертв. Между прочим, аморализм возникает всякий раз, когда методология превращается в образ жизни, или заменяет последний. Замечу при этом, что для Декарта его методология была для *руководства ума*, а не для руководства жизни. Его теория не применялась на практике, а была теорией в *теоретическом мышлении*. И вообще, строго говоря, декартовская методология не есть методология в современном философском смысле этого слова, и вот почему. Современное понятие методологии начинается не с Декарта, и даже не с Канта, а с Гегеля. Оно начинается (и, одновременно, и кончается) на одной безумной его выдумке, которая называется « единство логического и исторического » и служит камнем преткновения для всякого философа, увлекаю-

щегося « молодым » Марксом и старым... ну, Лукачем (старым Сартром увлекаться невозможно). Суть этой выдумки (в вульгарном пересказе) состоит в том, что логика исследования предмета и « логика » развития объекта *некоторым* образом совпадают. Но *каким* образом ? И здесь надо вернуться к формуле Декарта, вернее к одному слову этой формулы — ERGO — « следовательно ». Слово « следовательно » здесь не означает *переход* от cogito к sum, от сознания к бытию. Оно есть только *знак их параллельности*, условный знак того, что между « я мыслю » и « я существую » *не происходит никаких событий*. « Мыслю » и « существую » не отделены друг от друга *временем* в декартовской формуле, иначе она бы потеряла свой единственный смысл, называемый « дуализм ». Или, можно сказать еще так : формула Декарта служит как бы *символом* особой структуры сознания, которую можно было бы условно обозначить термином « дуализм ». А Глюксман, увлеченный *этической* интерпретацией этой формулы, наделяет ее свойствами *исторического бытия*, превращая ее тем самым в плоское *монистическое* суждение, что — *неинтересно*, а потому и есть *ошибка*. Ошибка тоже — от серьезности. То-есть, от эмоционального пристрастия Глюксмана. То-есть — от его привязанности к собственному своему философскому развитию, к философскому роману с самим собой.

Его антирационализм есть не только отрефлексированная реакция на общество, но и неотрефлексированная реакция на самого себя, на свое интеллектуальное прошлое и настоящее. Поэтому он ищет социального выхода (этического) из

философской проблемы (а не наоборот). Поэтому он смешивает страдание с бытием, в то время, как бытие только *может* быть (а может и не быть) *отрефлексовано* как страдание. Но реальное философствование начинается тогда, когда страдание *уже* отрефлексовано как бытие. И начало такого философствования есть тот страшный порог, о который споткнулся еще тогда не старый Сартр и.. перестал быть реальным философом (каким, я уверен, он был *по природе*), и превратился в человека *серьезного*, в патетического автора своих «диалектических интервью», в которых он еще раз попытался «отдать всякому должное и творить суть истории» (как Маркс в «Капитале»). Но, поскольку и это было уже сделано (Марксом), то и это оказалось *неинтересным*. Философский роман не получился (истина отдается только тому, кто ее любит, да и то не всякому). И если верно, что каждый человек — потенциальный лагерник, то из этого никак не следует, что каждый человек — потенциальный мыслитель. При этом, нельзя не согласиться с Глюксманом в том, что некоторых людей лагерь *заставляет мыслить*, и не только тех, кто там находится или находился. Но было бы ошибкой думать, что либеральный антисемитизм Фихте и тупой элитизм Гегеля был связан с тем, что они не жили в эпоху лагерных чудес и театрализованного террора современности. И я совершенно убежден (хотя ни в том, ни в другом случае «контрольный эксперимент» невозможен), что и не побывав в Мертвом Доме и в Подполье, Достоевский все равно бы пришел к тому мироощущению, к которому он пришел, там побывав.

Третий шаг Глюксмана состоит в том, что он *проклинает* Учителей Жизни. Учителей, которые обманули **ВСЕХ ТЕХ**, чтобы Государство терзало их и губило. Учителей, которые, монополизировав *общественную мысль*, лишали и лишают **ВСЕХ ТЕХ** их воли к мышлению и их воли к борьбе против государства. И здесь Глюксман экзистенциально прав и провиденциально неправ. И я постараюсь объяснить почему. Он прав, когда видит (а их надо видеть!) этих учителей, нездоровых, самоувлеченных и глубоко безвкусных, несущих «в массы» свою Идею (ха-ха, «овладевая массами, идея становится материальной силой»!), Идею «Человеческого» (ха-ха, «Человек — это звучит гордо!»), чтобы потом очередное государство смогло «методологически» правильно отделить группу или группы людей и затравить, загубить их руками тех масс, которыми овладела идея. И он, Глюксман, видит, как это происходит в каждый данный момент современности в том или ином месте (в той или иной степени — везде!). В самом деле, в прошлом веке сидевшие по чердакам и... кафедрам методологи ждали еще своего часа. Кафедр тогда явно не хватало (сейчас их в сто, тысячу раз больше). Одному романтику надо было ждать, пока умрет другой классик, чтоб занять его кафедру. Другой неоромантик (Шопенгауэр) так и остался на всю жизнь несчастным полупсихопатом от ненависти к тому же классику. Фихте, все же, как-то с трудом уместился (во времени и пространстве) между двумя классиками — Кантом и Гегелем. Но, вообще, — было очень тесно, и о полноценной кафедре для Маркса не могло быть и речи (не дожил

старик до «кафедрального избытия» нашего времени, Царство ему Небесное!). В десятых и двадцатых годах нашего века «методологическую волну» частично поглотила революция, а потом — депрессия и тревога предвоенной Европы и России периода «великих чисток» (Институт Красной Профессуры в Москве почти в полном составе отправился в концлагеря — не уберegli!). Но, все ж таки, их день пришел («...и лысых рать Европу голыми башками будет освещать», как сказал один вовремя застрелившийся поэт). Их день пришел в пятидесятых годах, а сейчас «еще не вечер». Все они, живые вместе с мертвыми, мертвой хваткой схватили за *мозги* (простите, Бога ради, за столь дурной вкус!) бедную массу и повели ее «за вечный мир в последний бой» за... Государство (все равно какое — настоящее или будущее) против... Несчастных. И за это Глюксман ненавидит Учителей, Великих Гуманистов и Человеколюбцев. За то, что они всегда — против *отдельного* человека, и за *общее*, каковым является Человечество, Общество, Государство. И поэтому он посылает всю методологию в одну большую жопу. Именно в этом, я сказал бы, и заключается его экзистенциальная правота. И здесь же она и кончается.

Ибо Глюксман не замечает (потому что вовремя не успел этого *отрефлексировать*), что идеи Учителей падали на почву человеческого мышления *уже общественного*. Т. е., такого мышления Человека (а не *отдельного* человека), которое было не в состоянии *отрефлексировать* самое себя как *общественное*, и потому всегда проявляло себя как *монистическое*. И оно есть и было таким

не от методологии Учителей, а от *Жизни*, от *Судьбы*. И в данном случае не важно, где поместить эту судьбу, за Человеком или перед ним (прошу прощения за сексуальные ассоциации). И основные усилия многих прежних и современных философов и психологов (а не методологов только) были направлены сознательно или бессознательно на то, чтобы не дать совершиться *рефлексии в Человеке*, чтобы не дать человеку осуществить свое «право» на свое *отдельное и частное мышление* о себе, как о субъекте *общественного сознания*. Ибо только он это осуществит, как превратится в *необщественного человека* (с маленькой буквы) со своим мышлением. Но только он это осуществит (и тогда у него будет уже *новая, иная судьба*), он уже не сможет никогда в своей жизни читать не только Маркса, Энгельса, Адорно и Альтюссера, но и... Зигмунда Фрейда с его *натуралистическим оптимизмом*, и позднего полупсихоаналитического Сартра, и раннего... я не знаю, был ли Лакан когда-нибудь ранним? Несчастный человек с маленькой буквы (и это уже не будет «звучать гордо») ! Он даже не сможет читать Жоржа Батая (запоздалый эстетический французский рефлекс на «Эстетику» Гегеля). Я не знаю, что он вообще сможет читать. И не придется ли отправить его в особый «библиотечный концлагерь» и подвергнуть там (принудительно, конечно) лечению особой марксистской психоаналитической процедурой, чтобы он вернулся к *общественному мышлению*? Так в чем же ошибка Глюксмана? В том, что он, выделив всех *несчастливых (сейчас несчастных)* в особую группу, вновь возвращает их (и нас вместе с

ними) к категории общего, к той структуре сознания (псевдоструктуре — точнее говоря), которая не даст ни им, ни нам понять, что с ними (и — с нами) на самом деле происходит. Очевидно, что парадокс человеческого (и — всякого) сознания заключается в том, что от такой структуры сознания, как «мышление-существование», очень легко перейти (исторически, а не только логически) к псевдоструктуре «бытие, как социальное бытие», или «сознание, как отраженное бытие». Но сделать обратный переход — невозможно или очень трудно. Отбросив методологию, Глюксман сделал только полдела. У него не хватило сил «порвать с историей». С историей вообще, и своей собственной — в особенности. Отвергнув идею исторического детерминизма, он не решился освободиться и от идеи исторического бытия, ибо тогда был бы риск, что он останется «совсем один» (как остался «совсем один» Ницше, порвав с Вагнером). А ведь «остаться совсем одному» есть начало всякого реального философского философствования. Теперь — последнее замечание. Особенность и яркость марксизма не ограничивается «единством логического и исторического», а также и тем, что он превратил гегелевскую идею «из догмы в руководство к действию». Гораздо интереснее здесь другое: «единство логического и исторического» незаметно превратилось в «абсолютное единство исторического процесса» внутри себя самого. Эта идея гораздо ближе к «руководству к действию», чем к «догме». Современный философ уже не может верить этой идее или любить ее так горячо, как «близнецы-братья»: Ленин и Троцкий, или Сталин и Мао («Сталин и

Мао слушают нас »), или Маркузе и Адорно, или ...исторические подмостки любят *парность*. Но она невероятно стойка психологически, эта идея. Она психологически — *католична* (и теологически — неопровержима). По существу Маркс в своей философии был *католиком*, Фрейд — тайным *католиком*, а Гегель — раскаявшимся протестантом. Все они «освободились» от Судьбы, взяв вместо нее — историю, филогенез, эмбриологию (представляю, каким огромным облегчением это явилось для Судьбы). Ведь всякому дураку ясно, что «судьба *играет* человеком», а история — дело серьезное. Никакой игры. Или, скажем так: Судьба — цирк, а история — театр. Покинув в своем мышлении неотрефлексированную им историю, философ оказывается перед психологической (или, в смысле Гуссерля — логической) необходимостью *смены типа своей сознательной жизни*. Ибо единство исторического процесса было тем *единственным*, на основе чего для него еще оставалась возможность рефлексии *над* своей личностью, над своей психической жизнью, над своей психической смертью. Уж умереть-то надо обязательно *исторически*. Это может сделать жизнь современного серьезного философа такой «психотической сонатой» (пример — Сартр), от которой не только Лакан, но и сам Лэнг не вылежит. Ведь остаться одному в пространстве — еще куда ни шло, но во времени — просто невыносимо (ха-ха, а интересно, может ли существовать Время без Государства?). Тут-то и кроется загвоздка всей ситуации Глюксмана — он *серьезен*, т. е. он связывает себя с *единым* процессом — это и есть серьезность, губительная не только в

философии, но и в любви, в искусстве, в поэзии (где она превращается в *личный пафос*). Маркс «творил суть истории», ибо он был серьезен. Глюксман послал исторический детерминизм Маркса в жопу, вместе с эгатизмом Фихте и Гегеля, но пока у него не хватает решимости сказать, что и его «народ» слушает методологов не только потому, что методологи коварны, но и потому, что сам народ — глуп. И у него не хватает решимости отрефлексировать свою жизнь и смерть как свою: ведь он, по крайней мере философски, хочет умереть вместе со своими «несчастными», боясь полностью «вынести себя» за пределы исторического процесса. Но только избавившись от истории, человек получает возможность послать, наконец, в жопу самого себя и стать действительно *настоящим* философом.

**НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О РОССИИ
СПРОВОЦИРОВАННЫХ СОВРЕМЕННЫМИ
«СЛАВЯНОФИЛАМИ»*)**

Одной из роковых особенностей русского национального духа, по-видимому, является какая-то неизбывная нетерпимость к оппоненту, неумение вести полемику «парламентскими» методами, склонность к очернению и ошельмованию как к последнему и самому вескому аргументу в споре. Таковы мы в быту, таковы мы и в политике, и не слишком трудно проследить, как знаменитые «сам дурак!» или «а еще шляпу надел!» обращаются отсутствием демократических и правовых институтов, разнузданной бранью газет, а в революционные времена и залпами чрезвычайок.

К сожалению, чудом восставшая из праха в последнее десятилетие русская общественная мысль, еще пребывая в младенчестве, уже демонстрирует все те же опасные свойства. И в этом смысле весьма характерно выступление Л. Бородин в защиту русского духа от критики с позиций «иноплеменного взгляда» («Грани», № 96). Л. Бородин не устроили статьи Алтаева, Горского и некоторых других авторов в «Вестнике РСХД», но вместо попытки вести спокойный разумительный диалог, Л. Бородин обнаруживает слишком уже знакомую большевистскую неприимчивость, стремление сразу же размежевать «друга от недруга», «единомышленника от зло-

*) Из материалов Самиздата.

умышленника» (как будто других членений на свете не бывает), определить, кто не с нами, а, значит, против нас. Употребляя слово «большевистский» применительно к Л. Бородину, я не хочу обидеть его, но и не оговариваюсь, ибо в отличие от него самого и некоторых других современных мыслителей (включая Солженицына) полагаю, что большевизм — явление сугубо русское, сколь упорно ни возводили бы мы его к Марксу с его манифестом и сколь упрямо ни пытались бы изобразить русскую революцию делом рук инородцев, национальных меньшинств, а то и вовсе чем-то вроде нашествия марсиан. Глубочайшие корни русского большевизма, как мне думается, надо искать не в лозунгах и идеологических платформах — они-то могут быть по случаю социалистическими, а по случаю православными, — а в отношении к этим лозунгам и к лозунгам, им противостоящим, в терпимости или нетерпимости, в сознании своего как лучшего (неважно, называется ли это лучшее «святым» или «единственно научным»), в подмене фактов эмоциями. Л. Бородин не замечает, что невольно питается соками этих корней, как не замечает он смешного положения, в котором оказывается, когда, буквально следуя В. Ульянову, уничижительно, как ему кажется, именуует своих оппонентов «господами», забывая о том, что сам-то он давно не числится в «товарищах».

Это хочется сказать о форме статьи Л. Бородина. Суть же ее, если оставить в стороне путанные рассуждения по поводу определения термина «интеллигенция», сводится к обсуждению вопроса о том, кто имеет право говорить и писать о

России и кто не имеет такого права. Само возникновение такого вопроса настолько тесно связано с целым комплексом событий в политической и духовной жизни страны в последние годы, что нам придется хотя бы кратко дать свою оценку истекшего десятилетия, с тем чтобы наша позиция заняла свое место в более широком контексте.

Оглядываясь назад, можно сказать, что появление в первые же годы правления послехрущевской олигархии так называемого « демократического движения » (точнее было бы, назвать его « демократическим брожением ») было проявлением своего рода *слома*, *кризиса* или даже *революционного поворота* в сознании определенной части интеллигенции. Тут как нельзя лучше подтвердилось общесоциологическое правило, согласно которому революции происходят не тогда, когда жить *абсолютно* плохо, а когда период улучшения, а следовательно, надежд, сменяется застоєм или попятным движением. Именно таким временем надежд была эпоха Хрущева. Несмотря на немалые жестокости и этого периода, на политические репрессии, суровые порядки в местах заключения, периодические гонения на творческую интеллигенцию, время это вспоминается на мрачно-сером фоне последующих лет как картина свежего весеннего цветения, выполненная в пастельных оруджавовских тонах. Приход к власти Брежнева, совпавший к тому же с процессом Синявского и Даниэля, был воспринят многими интеллигентами, и, надо сказать, ошибочно, как начало реставрации сталинщины, хотя на самом деле это была всего-навсего резкая остановка наметившейся эволюции в сторону неко-

торого либерализма. И, как всякая резкая остановка, она повлекла за собой сумятицу и разброд: одни уцепились за поручни, а другие « попадали » по ходу прежнего движения. Не будем описывать всех дальнейших перипетий возникшей конфронтации между « стоящими » и « падающими ». Нам важно здесь отметить одно: в какой-то момент стало очевидным, что диссидентское движение носит исключительно *западнический* характер, что подавляющее большинство его участников вдохновляется образом Запада: кто — высоким уровнем тамошней жизни, кто — существующими там свободами, кто — техническим прогрессом. Эта западная ориентация с неумолимой логикой вела к повальному отрицанию всего советского, а далее — и всего русского вообще*). Поэтому постепенно выявлялось, что наряду с *нравственной силой* противостояния безнравственной власти демократическое движение отличается и *нравственной слабостью*, связанной с отсутствием корней, « почвы », подлинной любви к своей земле и своим соотечественникам. Эта нравственная слабость особенно явственно проявилась с нача-

*) Этим различием мы вовсе не хотим сказать, что советское не есть русское. Напротив, как уже было отмечено, большевизм и советскую власть мы считаем порождениями русской национальной культуры. Не склонны идеализировать мы и русское прошлое с его вполне национально обусловленными самодержавно-крепостническими институтами. Однако между русским и советским нельзя ставить и знака равенства. Советская socio-экономическая система есть лишь одна из возможных форм социально-политической организации, отвечающих русскому национальному духу, и мы не исключаем поиска более оптимальных, с точки зрения общечеловеческой морали, вариантов.

лом отъезда, когда многие из лидеров демократов оказались в первых рядах эмигрантов.

Мы говорим об этом не с целью бросить упрек кому-то из уехавших. Всяк волен в выборе своей судьбы, и даже если этот выбор продиктован просто поисками материального благополучия, — что ж, в этом тоже нет ничего предосудительного. Тем более, когда речь идет о невыносимых условиях, в которых оказались многие из демократов. Но при всем сочувствии к каждому отдельному диссиденту, покинувшему, вынужденно или добровольно, свою страну, мы не можем не видеть того, что в результате отъезда демократическое движение понесло непоправимый нравственный урон. Оно показало свою нравственную незрелость, ибо нельзя требовать реформы в своей земле и одновременно жить с девизом «чем хуже, тем лучше», радоваться неурожаю, мечтать о поражениях и провалах и бежать, если в ответ на первое же твое обращение к властям тебе дарят не парламент, а все те же партсобрания, где тебя «прорабатывают» не оккупанты-марсиане, а твои же «сограждане», которых почему-то не вдохновляет твоя демократически-правовая утопия. В этих условиях обозначились новые рубежи раскола уже внутри самих раскольников (диссидентов): нетерпеливые и недостаточно любящие свою страну стали все более склоняться к мысли о бегстве, те же, чей нравственный комплекс включает в себя патриотические установки, начали все более задумываться о необходимости терпеливой, мелочной, полной личных жертв работе над улучшением качества жизни в родной стране, без упования на то, что

лучшую жизнь можно импортировать, или выпросить, или вытребовать у властей. Представители «национальной волны» в стане оппозиционеров существующему режиму вступили в резкую полемику и с теми, в ком они увидели продолжателей столь характерных для прошлого века нашей истории традиций денационализированной интеллигенции, которая саму любовь к своему отечеству считала чем-то неестественным и постыдным. И со многими, о чем говорят в этой связи такие выдающиеся представители «почвенно-национальных» настроений, как Шукшин, Солженицын и авторы сборника «Из-под глыб», трудно не согласиться. Однако многое из сказанного ими внушает и опасения, и как раз в статье Бородина нашли выражение наиболее неприятные черты этого в целом здорового направления.

Тут-то мы и возвращаемся к вопросу о праве говорить и писать о России. Заслуживают ли авторы в «ВРСХД», даже если они и беспочвенны, как это не столько доказывает, сколько, по собственному признанию, *чувствует* Бородин, такой недоброй отповеди? Нам кажется, едва ли. Ведь одно дело — политическое действие с позиций нелюбви к своей стране, другое дело — описание русской реальности, попытка анализа русской истории, ее воспроизводившихся стереотипов объективным образом. В таком предприятии безотчетная любовь может ведь обернуться и помехой. Надо ли напоминать, как слепы мы бываем к недостаткам и изъянам наших близких и любимых? И не надо ли терпеливее прислушиваться к голосу тех, кто, подобно Кюстину, со стороны показывает нам нелицеприятную правду о нас

самих, не впадая в транс и не биясь в истерике : « Мамочку обидели ! » ? И не глушить голос рас-судка, не ослепленного влюбленностью, жалким блаженным лепетом маниакальной любви, вроде того, что предъявляет нам Бородин в виде цитат из Вячеслава Иванова. Большевизм как русское явление, в частности, ведь и стоит на том, что мы не любим слышать правду о себе, сказанную чужими; она, видите ли, « разумна в чем, да не светит и не греет... » Вот и встают глушилки на русской земле, и в лагерь едут те, кто посягает выносить сор из собственной избы.

Кстати, сами себе мы при этом не отказываем в удовольствии поучить других, напомнив им (Западу) о « буржуазно-мещанской трусости его природы », или о том, что « скепсис, апатия и цинизм давно стали неотъемлемыми компонентами западной цивилизации ». В этих даваемых Бородиным расхожих характеристиках западного образа жизни, помимо верхоглядства, обнаруживается еще одна черта русского сознания, испокон веку умело используемая государственной пропагандой : неспособность провести трезвое, опирающееся на факты сравнение себя с другими. Скажи русскому человеку, что он живет в десять раз хуже, чем американец, он ответит, что у них безработица. Скажи ему, что у него нет свобод, он вспомнит о неграх. Он не понимает, что между отсутствием демократии в его стране и пороками демократии в западном мире пролегла пропасть. Как не видит и Л. Бородин пропасти между « сатанинским атеизмом » русских и « прогрессивным перерождением в традицию этического нормативизма » западного христианства.

Впрочем, справедливости ради, надо сказать, что в какой-то момент эта пропасть открывается ему. Но перепрыгнуть через нее он пытается даже не «оттолкнувшись посередине» (как, по меткому выражению Черчилля, пытался Хрущев догнать Америку «материально»), а совершив головокружительную чечетку «об воздуха». Оказывается, сотворенное в России зло — это миссия, подвиг «последовательности и искренности» в отречении от Бога во имя иных идеалов. Русская нация, видите ли, «не захотела ужиться с полуправдой, ибо христианство, превращенное в ритуальную традицию, лишённое животворящей силы своей, есть именно полуправда и грех». И далее автор заявляет: «Если в России правит Люцифер, то в Европе царствует Ариман».

Оставим на совести автора его предпочтение Люцифера Ариману. Как говорится, дело вкуса. Однако все остальное в этих историософских выкрутасах отнюдь не безобидно и не смешно. Эдак можно договориться до вещей в высшей степени безнравственных, если не прямо человеконенавистнических. Можно, например, найти в истории Европы и взять под защиту ее более последовательное и искреннее, чем в России, отпадение от Бога, а заодно и от «этического норматизма» — этой западноевропейской мещанской бяки. Мы имеем в виду нацистскую Германию. Можно возвеличить террор, противопоставив его умеренности и компромиссности итальянских католиков, голосующих за коммунистов, и английских коммунистов, празднующих Рождество Христово. Автор откровенно предпочитает террор. Тут содрогнулся бы даже такой глашатай «русской идеи»,

как Солженицын, который все-таки видит в западных институтах, выросших из компромиссов и зиждящихся на терпимости, нечто такое, что следовало бы оградить от столь близких Л. Бородину « одержимых, в смертной маске, лиц » стрелков во имя « правды-истины » (« Грани », № 96, стр. 249). « Когда я смотрю на Запад, — говорит Солженицын, — меня преследует странное чувство некогда виденного. Все, через что вы проходите, мы уже прошли. Не забывайте, в России конца XIX века были террористы, и интеллигенция устремлялась на их защиту, когда их хватала полиция. Маленькая слабость, но не заплатили ли мы за эту маленькую слабость десятками миллионов жертв революции? » *).

Оставаясь и здесь выразителем « русского духа », Бородин занимает экстремистскую позицию. На словах он отрицает « национал-мессианизм » русских, на деле же он сам придумывает России « миссию », да притом такую, что не знаешь, смеяться или плакать. Ну все равно, как если бы он заявил, что миссия полного алкоголика хотя бы уже в том, чтобы показать всем прочим, как далеко их может завести умеренное потребление алкоголя, если оно перейдет в неумеренное. Вряд ли такое трагикомическое проявление любви к России лучше, чем ожесточение его оппонентов. И не сходятся-то они не в фактах, а в оценке фактов. И Бородин, и авторы « ВРСХД » согласны в том, что « народ-богоносец показал свое звериное

*) Цитата из интервью, данного Солженицыным Жоржу Суффери, приводится в обратном переводе с английского из журнала « Encounter », Apr. 1976.

лицо» (Горский), только Горский призывает на этом основании покончить с мифотворчеством и народопоклонством, а Бородин изобретает ему в оправдание пресловутую миссию и любит ее. Заметим попутно, что когда-то до аналогичной идеи («России, может быть, предстоит единственная религиозная миссия — рождение из ее недр антихриста») додумался Леонтьев, но не нашел в ней ничего упоительного. Для него она как раз послужила причиной отчаяния в том, что Россия, как он ранее полагал, явит еще новый тип цветущей культуры, противоположной вырождающейся европейской цивилизации.

Что касается «национал-мессианизма» русских, то напрасно приписывает Бородин открытие этого качества авторам из «ВРСХД» и с издевкой пишет об их ссылке на Филофея и идею Третьего Рима. У чтимого им Бердяева он мог бы прочесть:

«От идеи Третьего Рима идет русское мессианское сознание и проходит через весь XIX век, достигает своего расцвета у великих русских мыслителей и писателей. До XX века дошла русская мессианская идея, и тут обнаружилась трагическая судьба этой идеи. Императорская Россия мало походила на Третий Рим — в ней, по словам Достоевского, «Церковь была в параличе», была в унижительном подчинении Кесарю. Русские мессианисты были обращены к Граду Грядущему, они Града своего не имели. Уповали, что в России явится новое царство, тысячелетнее Царство Христово. И вот пала Императорская Россия, произошла революция, разорвалась великая цепь, связывающая русскую Церковь с русским государством. И русский народ сделал опыт осуществле-

ния нового царства в мире. Но вместо Третьего Рима он осуществил Третий Интернационал. И сознание тех, которые осуществляли Третий Интернационал, тоже оказалось по-своему мессианским сознанием. Они сознавали себя несущими свет с Востока, который должен просветить пребывающие в «буржуазной» тьме народы Запада. Такова судьба русского мессианского сознания. Оно есть не только у инок Филофея, но и у Бакунина. Но этим обнаруживается, что в первоосновах мессианского сознания допущена религиозная ложь, ложное отношение между религиозным и народным. Грех народопоклонства лежит в основе мессианского сознания, и за грех этот следует неотвратимая кара» *).

Я думаю, что этой пространной цитатой можно бы и закончить анализ полемики Бородина с авторами «ВРСХД», ибо в ней в сжатом виде содержатся все идеи, приписываемые им Бородиным (и грех народопоклонства, и преемственность между национал-мессианизмом и русским марксизмом, и московский империализм, сиречь «свет с Востока»). Думается, что и словосочетание «русский марксизм» не казалось бы Л. Бородину столь нелепым, почти он сочинение Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма», в особенности главу «Классический марксизм и марксизм русский». Так что весь гнев Бородина можно переадресовать Бердяеву и тем самым покончить с критической частью его статьи.

*) Н. Бердяев. Миросозерцание Достоевского. Paris. УМСА, стр. 188-189.

Но может быть, статья содержит что-нибудь существенное в части позитивной? К сожалению, тут она бедна идеями. Разумеется, нельзя не согласиться с утверждением Бородина, что все, что будет происходить в России, будет осуществляться под национальными лозунгами. По-видимому, это правильное предвиденье, и, наверное, это скорее к добру, чем ко злу. Действительно, утопическое западничество в России всегда уподоблялось мухе, бьющейся об оконное стекло: красивые за окном пейзажи, да вот только между ними и родной помойкой воздвиглась непреодолимая, хоть и прозрачная преграда. Но едва ли помогут России и истошные историософские вопли о прорыве к « правде-истине ». Вспомним, что писал о славянофилах Достоевский, и поостережемся повторения их ошибок:

« Мы хотели только заявить о несколько мечтательном элементе славянофильства, который иногда доводит его до совершенного неузнания своих и до полного разлада с действительностью. Так что во всяком случае западничество было все-таки реальнее славянофильства, и, несмотря на все свои ошибки, оно все-таки дальше ушло, все-таки движение осталось на его стороне, тогда как славянофильство постоянно не двигалось с места и даже вмняло это себе в большую честь. Западничество смело задало себе последний вопрос, с болью разрешило его и, через самосознание, воротилось все-таки на народную почву и пришло к соединению с народными началами и спасение в почве. Мы, со своей стороны, заявляем как факт и твердо верим в непреложность его, что в теперешнем, чуть не всеобщем повороте к

почве, сознательном и бессознательном, влияние славянофилов слишком мало участвовало и даже, может быть, совсем не участвовало» («Дневник писателя»).

Если западников мы сравнили с мухой за стеклом, то славянофилов можно приравнять к куколке, застывшей в своем коконе и не зрящей за его пределы. Себе же изберем в идеал навозного жука — это трудолюбивое насекомое, созидающее нечто полезное из реально имеющегося в наличии материала. Ведь нелепо мечтать о создании автомобиля, если под руками у вас глина. Тут уж надо лепить горшок и радоваться, когда он получится хорошим. Но для этого надо знать свойства материала и технику обращения с ним. Русская культура и русский человеческий материал не хороши и не плохи — они особенные. Погоня за Западом, копирование западных образцов (нет ничего нелепее автомобиля из глины!) ничего хорошего не сулят России, как не сулят они ничего путного Индии, Китаю, арабам и африканцам. Столь же пагубна и мысль научить Запад своему образу жизни, надежда заставить его жить по нашей вере, будь то православной или коммунистической. В этом смысле призывы Солженицына к изоляции, к устройению собственного дома, его лозунг отказа от индустриализации, даже его предпочтение автократии суть не «реакционная консервативная утопия», как представляется западникам и вчерашним марксистам, а вполне реалистическая попытка опереться в поисках более приемлемого для всего человечества пути на собственную историю России, на ее традиции и ее своеобразие. Естественны и его упо-

вание на религию, которая должна снова заменить « передовое учение », и его обращение к старообрядцам и раскольникам как к носителям народного религиозного сознания, и признание исторической вины православной церкви перед этими миллионами истово верующих русских людей. Единственно, с чем трудно согласиться, это с там и сям проскальзывающими в его работы представлениями о революции как о деле рук каких-то инородцев, а не о собственном творчестве истинно русских карамазовых и смердяковых, о марксизме как об импортном продукте. На самом деле национальные культуры, национальное миропонимание — русское, китайское, европейское — давно уже настолько подмяли под себя это всепобеждающее учение, что едва ли от него осталось нечто большее, чем простая словесная оболочка, внутри которой работают гораздо более мощные традиционные механизмы. Еще вчера было неясно, а сегодня почти очевидно, что русский и европейский « марксизмы » ждет такой же глубокий раскол, как разрыв между Россией и Китаем (или между восточным и западным христианством). Идеологии преходящи, гораздо устойчивее человеческая толща с ее воспроизводящимися из века в век свойствами.

К сожалению, никто еще и не приблизился к пониманию того, какой же горшок можно вылепить из имеющегося в России человеческого материала. С какой стороны приняться за пестование тех черт русского человека, которые могут сложиться в нечто нравственно приемлемое с точки зрения общечеловеческих идеалов, и за искоренение того отвратительного, что слагается,

и уже сложилось, в угрозу как всему человечеству, так и самой России? Как обуздать и в какие русла направить русскую удаль и широту? Чем возместить недостаток в русском человеке дисциплины? Как сделать, чтобы менее разрушительными были русская агрессивность и недостаток любви к ближнему своему? Какие институты должны заменять собой не приживающиеся на русской почве правовые учреждения? Какими реформами семьи и детского воспитания победить неистребимый русский инфантилизм? И надо ли его побеждать, или, может быть, следует строить общество по принципу хорошего детского сада (вместо плохого детского дома или колонии для малолетних преступников, каковым оно является сейчас)? Вот наугад взятые вопросы, которые необходимо решать, прежде чем в приступе очередного нетерпения пускаться в рискованные социальные эксперименты. Но для такой познавательной работы необходима устойчивая культуротворная интеллигентская «серединка», педантично и кропотливо работающая в области национального самопознания. И да простят мне поклонники Александра Исаевича, если я скажу, что нравственный максимализм его по меньшей мере амбивалентен (увы, приходится пользоваться терминами, бытующими в «образованщине»). Конечно, ни одна нация не может существовать без нравственных маяков, и с этой ролью Солженицын справляется безупречно. Но в максималистских требованиях Солженицына заключена и опасность, особенно в условиях России, где никогда не ценилась культурная, просто работающая и любящая дело, «земская», негероическая часть

интеллектуалов, чохом зачисляемая Солженицыным в образованщину. Припомним замечательные по силе проникновения слова Бердяева :

« Русский нигилизм есть извращенная русская апокалиптичность. Такая духовная настроенность очень затрудняет историческую работу народа, творчество культурных ценностей, она очень не благоприятствует всякой душевной дисциплине. Это имел в виду К. Леонтьев, когда говорил, что русский человек может быть святым, но не может быть честным. Честность — нравственная середина, буржуазная добродетель, она не интересна для апокалиптиков и нигилистов. И это свойство оказалось роковым для русского народа, потому что святыми бывают лишь немногие избранные, большинство же обрекается на бесчестность » *).

На первый взгляд, взывая к честности — « жить не по лжи », — Солженицын требует святости, жертвенности. А между тем России необходимы думающие « обыватели » — этакие канты, гегели и парсонсы, по которым можно сверять часы, но которые, вместе с тем, спокойно, без истерии и эсхатологического визионерства, помогли бы осмыслить существующее и устроить жизнь на разумных началах. К « жертвенной элите » зовет Солженицын, к ядру, « воспитанному не столько в библиотеках, сколько в душевных испытаниях », и обязательно « поступающемуся удобствами жизни ». Что ж, призыв этот праведен — и дрогнет моя рука, когда несколькими строками ниже я поставлю псевдоним, —

*) Н. Бердяев. Миросозерцание Достоевского. УМСА, 1968, стр. 14.

но не ведет ли он по порочному замкнутому кругу ко все тому же расколу нации на святых и жуликов? (Коль скоро мне святой Солженицын руки не подает, то и подамся в жулики!) А может быть, этот раскол и есть фатальная и неизбежная черта русской жизни, а утопичны и беспочвенны как раз мои (и Г. Померанца) надежды на интеллигенцию, «вращенную в библиотеках»? Как знать? Блажен, кто верует. Мне же дано задавать вопросы и не упорствовать в своих мнениях.

Л. Ладов

О ЧЕМ ПИШУТ?..

«Советский режим... весьма милостив к диссидентам. Это как раз то, что нам так трудно понять. Режим долго разрешает им открыто выступать против него внутри страны, прежде чем арестовать, а после ареста сравнительно скоро выпускает за границу...

Разница между двумя первыми эмиграциями и третьей заключается не только во времени выезда..., но еще и в том, что представители первой и второй эмиграции бежали сами. Их никто не отбирал, и среди них были представители всех слоев населения. Третью же эмиграцию отбирают советские органы, и это исключительно интеллигенты, в большинстве своем — советские интеллигенты».

В. Пирожкова — «Голос Зарубежья»,
№ 9, июнь 1978

ИНТЕРВЬЮ С КОММЕНТАРИЯМИ

Не секрет, что государственный антисемитизм, насаждаемый в Советском Союзе партией и правительством, имеет известную поддержку «с низу», от населения, приобретая здесь порою более четкие контуры, а иногда и более сложный, причудливый рисунок. Эти зарницы будущего погрома, который, как тяжелое облако, висит над русской землей и ждёт лишь сигнала сверху, — в наэлектризованной атмосфере наших дней сверкают все чаще, все откровеннее. И глашатаями подобных идей выступают сейчас уже некоторые интеллектуалы, передовые и даже либеральные, оснащенные научно и теоретически, движимые заботами «национального возрождения». Подчас они смыкаются с официальной (пусть и негласной) позицией, порою же развивают достаточно самостоятельный и оригинальный тезис. Из этих же идей и умонастроений складываются новые формы идеологии — русского или советского (грядущего) фашизма, хотя далеко не все сторонники этой доктрины согласились бы на столь одиозное и прямое определение.

Московский корреспондент журнала «Синтаксис», Олег Дмитриев, взял недавно интервью у одного уважаемого советского литератора, пожелавшего в этой записи остаться инкогнито. Известно, что человек этот — средних лет, преуспевающий, образованный, рафинированный и остроумный — не принадлежит к сферам партийной бюрократии, но рассуждает по-своему и по-новому, с опорой на «русскую историческую традицию». Публикуя этот яркий материал, редакция журнала сочла необходимым сопроводить его попутными комментариями. Эти, правильнее сказать, размышления вслух по поводу услышанного — расположены после интервью, в сносках, и выказаны Андреем Синявским. Они, естественно, не претендуют на всесторонний охват проблемы и носят фрагментарный характер.

НЕ НАЗЫВАЯ ИМЕН...

Вечер в провинциальном русском городишке. Может быть в Саратове, может быть в Феодосии. По пустым, опаленным солнцем улицам носится здоровенный пьяный бугай. Захлопываются двери, взвизгивают форточки, лязгают ворота. Мужичина, останавливаясь на пыльных перекрестках, заглядывая в увядшие сады, просовываясь сквозь тюлевые занавески в окна, орет одно и то же: « Евреев — в гробы! » Тошнотворная перегретая тишина. И только возле какой-то облезлой подворотни несмело маячит старый еврей: небритые щеки, тапочки, кривой жилет... « А хороших евреев? » — спрашивает он. « Хороших евреев, — орет бугай, — в хорошие гробы! »

Советский анекдот 70 годов

« От русских остался клей, склеивающий республики ».

Из разговора со старой дворянкой

Это интервью было записано как-то вечером на одной из подмосковных дач с помощью хрипящего недомогающего кассетника. В стране, вечно перевыполняющей план по страху, по тоннам стра-

ха, хотелось найти хоть крошечный островок, где никто не боялся бы говорить вслух. Независимо от направления мысли... Но все равно, когда, дернувшись, поползла слева направо пленка, разговор незамедлительно побледнел, чуть сморщился и потерял градус. Поэтому вам самим придется восполнить недостающее напряжение. ...На этот раз цензура не вырезала из пленки ничего, кроме комариного пенья да глухого удара мячей на теннисной площадке, обсаженной всегда прохладной невысокой жимолостью.

О.Д. Мы договорились, что в этом интервью не появятся имена. Вопрос, который я вам задаю, не нов, не нов именно для России. Это — «Евреи и Россия» или «Евреи в современной России». Не случаен выбор темы и не случайно я задаю этот вопрос именно Вам, русскому писателю.

Н.Н. Да, это вопрос трагический, можно сказать, потому что он уходит в такие корневые закономерности нашей русской жизни, и так уже запутан, и столько об этом говорено всякого вздора... Дело в том, что Россия (хотя первые погромы произошли еще при Владимире Мономахе) как известно получила «подарок» после последнего раздела Польши при Екатерине Второй, когда к ней отошла восточная Польша, населенная белорусами, украинцами и... евреями, о которых еще Маркс сказал, что их воздержанность в вине делает их очень страшными, когда в их руки попадают винокурни. Известная Записка о евреях Державина, который будучи министром юстиции обследовал по указанию Павла I положение белорусов и причины их голодания,

закончилась очень плачевно для Державина; и, в конце концов, после того, как он отказался принять подкуп от еврейской верхушки, которую представлял откупщик Ноткин в Петербурге, он был снят. И один из предков генерала Гурко, помещик Гурко, перехватил письмо, в котором было буквально сказано, что надо снять этого министра юстиции, а если не удастся снять, то хотя бы известить, на что дается срок до двух лет. Таким образом все, что удалось сделать России, это поставить черту оседлости, чтобы этот очень изощренный и по-своему великий — по герметической чистоте своей крови — народ, не мог бы причинить так много зла и бед, как все-таки этого ожидали все... 1).

О.Д. Мы немного сползаем в историю. Не кажется ли Вам, что тема разговора должна быть чуть уже?

Н.Н. Хорошо! Интересно, скажем, было бы сделать такую антологию — «Евреи в русской литературе». Или — «Русские писатели о евреях». Не только Державин, конечно, не только Пушкин с его известными строками: «Ко мне постучался презренный еврей, я дал ему злата и проклял его»... Если взять гоголевского «Тараса Бульбу» и выбрать все, что написано об Янкеле, который сумел очень быстро завладеть целым краем, — это будет вопиюще! Это будет обличительное и совершенно невозможное к печатанию произведение, которое вызовет на свет Божий ярлыки погромщика и антисемита. Но ведь эта линия продолжалась и дальше. Не только Достоевский, о котором Шульгин, в одном из писем ко мне, сказал, что Достоевский был очень

русский человек; правда, добавил Шульгин, была у него и польская кровь, поэтому поляков он ненавидел совершенно по-польски, а также некоторых других иностранцев... А Чехов? Ведь письма Чехова даже в полном собрании сочинений очень сильно купированы и все, что касается засилия евреев, особенно в письмах к Суворину, — все это выкинуто. Ведь после того, как знаменитая реформа Александра Второго позволила еврейской массе проникнуть в города, несмотря на ограничения, уже к концу 19 века адвокатура, газеты, печать, журналистика и писательство, наконец, уже находились в их руках. Я уже не говорю о финансовом могуществе... Мы знаем даже, кто двигал Распутиным: об этом рассказывается в книге, «Распутин и евреи». Тут любопытно, что они легко ко всему приспособляются, но, как писал Куприн в известном письме к Батюшкову в 909 году, — это люди, которые способны легко делать работу второго сорта.

О.Д. Вы обобщаете или это касается уже только каких-то профессий?

Н.Н. Может быть политика — исключение... но это дело, так сказать, скользкое. И здесь, в политике, они себя проявили так же в очень стремительном выражении, закрепившись сразу во всех партиях чуть левее центра и далее. Когда же после известных социальных катаклизмов, началась попытка национального оздоровления политических кадров — методами, которые известны нам по Ивану Грозному и Петру Великому — они переползли в матрас культуры. И, конечно, в науку. Мне довелось разговаривать с одним караймом, который был на еврейской Пасхе не-

сколько лет назад. На этой Пасхе обсуждалось не что иное как — когда будут запускать какой-то спутник, потому что там было человек шесть докторов наук, связанных с космосом. А медицина? Удивительно, что по статистике врачи-евреи занимают преимущественное положение в привилегированных поликлиниках и больницах. В то время как в районных, более бедных больницах, их немного. Но они в аппарате руководства, они в министерстве здравоохранения 2).

О.Д. А если мы коснемся литературы?

Н.Н. Приток евреев в литературу после революции был облегчен двумя обстоятельствами. Во-первых, им было разрешено всё. Они получили полную возможность проявить свой интернационализм на деле. А во-вторых, из русской литературы ушло огромное количество людей в эмиграцию. Людей, составляющих гордость русской культуры. Образовались пустоты, которые должны были быть кем-то заполнены. Во-первых, они были заполнены, конечно, перегноем, то есть вышедшими из пещер людьми, которые были освобождены от пут, ранее связывавших их, это — русские люди : крестьяне, рабочие, которые пытались создать свое искусство. В очень небольшой степени им тогда, в 20-е годы, это удалось. И, конечно, рядом с ними ловкие, легко подделывающиеся евреи стали преуспевать. Хотя парадокс в том, что именно литература, т. е. то, что пишется на национальном языке, менее всего доступна иностранцам. А ведь евреи, будучи даже гражданами нашей страны, все-таки сохраняют свое внутреннее национальное сознание. Так вот эти бойкие люди, одесская школа к примеру —

Бабель, Багрицкий. Причем многие из них скрывали, что они евреи. Если Бабель, Багрицкий не скрывали, то Паустовский всю жизнь говорил, что он русский. Удивительно, что в его манере, в его отсутствии четких характеров, в его мармеладности, в том, что Твардовский, относясь к нему очень хорошо, сказал о нем: «Паустовский прошел мимо жизни», во всем этом мы угадываем работу второго сорта. А, как Булгаков говорил, что осетрина бывает только первой свежести, так и литература бывает только первой свежести. Второй сорт в литературе — это уже не литература.

О.Д. Вы считаете, что евреи, говорящие и пишущие на русском языке, на самом деле наполняют его, скажем, нерусскостью?

Н.Н. Именно. Ведь русский язык, тот самый, который помогал Тургеневу в дни мучительных сомнений о судьбах своей родины, — это наше национальное достояние, которое невозможно ни продавать, ни импортировать — это не лес, не нефть, но тем не менее это дороже и пушнины, и золота, и нефти, это то, из чего складывается на каком-то молекулярном уровне нация. И вот именно этот язык стал чудовищно портиться и загаживаться еще задолго до революции. Стихия газеты, стихия журналистики, стихия мешанины языковой хлынула туда, а когда, наконец, стало обновляться искусство, из разных городов и местечек пришло очень много евреев, которые стали метать жребий об одеждах искусства. И конечно, на первых порах это казалось малограмотному читателю, который собственно впервые раскрывал книгу, который жадно искал что-то новое, это

казалось чем-то необыкновенным. Скажем «Одесские рассказы» Бабеля или его «Конармия». Это было что-то необыкновенное, хотя, ведь если разобраться, принцип морали, нравственности, духовности, то, что составляло сердцевину великой русской литературы, — ими отвергается. На место этого принципа приходит другой принцип — эстетический. Вот у Олеси героиня проходит мимо, как ветка яблоневых цветов. И это красиво. Или у Ильфа: путаясь в соплях вошел мальчик... Когда-то Олеша хотел на старости лет открыть лавку метафор, ну так вот это метафоры из одной лавки, собственно говоря. Всепоглощающая метафора. То, чем сейчас занимается престарелый Катаев, который долгое время подавлял в себе вот этот инстинкт самодовлеющего художника, у которого нет того, что можно назвать Богом, Верой, духовностью, как угодно... В конце концов — идеалом. Вот этого высокого идеала нет и вместо него — всепожирающая метафора. Таким образом в литературе нашей это являлось довольно значительной угрозой, и механическими средствами бороться с ними было смешно. Можно было кого-то репрессировать (хотя погибло, скажем, и очень много русских людей и речь не об этом идет), но тем не менее такой путь, конечно, механический, был смешон.

О.Д. Вы не преувеличиваете размеры, пользуясь вашим словарем, засилья?

Н.Н. Московская писательская организация на 80 % — евреи. Восемьдесят процентов. Официально. Причем большинство из них — люди, даже не имеющие отношения к литературе. Это люди, которые пишут — им все равно, о чем писать.

Владея русским языком, принаравливаясь к любой теме, они не сжигают себя на том костре творчества, на котором сторел Есенин или Платонов. Они с одинаковым, если угодно, отвращением могут писать о знатном колхознике или наоборот о Суворове, Ушакове или о каком-нибудь национальном писателе — им все равно, о чем писать, потому что это, конечно, кажущаяся легкость зарабатывания денег. Когда-то Толстой с горькой иронией сказал, что если вас спросят — можете ли вы играть на скрипке и вы ответите — не знаю, не пробовал — все сочтут это дурной шуткой. Но если вас спросят, можете ли вы написать роман, и вы ответите: не знаю, не пробовал, — это никто шуткой не сочтет. Так вот за романы, за повести теперь берутся очень бойкие кабинетные, книжные люди, которые преимущественно являются лицами еврейской национальности. И когда на это кем-то обращается внимание, когда об этом говорится, это воспринимается как бытовой антисемитизм, как нечто погромное, хотя ничего в этом погромного нет и не может быть. В действительности сейчас такое состояние в нашем писательском клубе, что просто половина клуба не разговаривает с другой. Поддерживает чисто внешние отношения. Нельзя сказать, что только еврейское засилие ведет к тому, что подавляется русская литература. Если бы русские писатели, русские по национальности, русские по духу были бы необыкновенно талантливыми, они могли бы качеством подавить это сопротивление, но, к сожалению, новый культурный слой нарастает очень медленно, а старый — очень пострадал, как всегда, во все революции. И это закономерно.

Культурный слой всегда страдает. Когда мы закупили в Великобритании траву для теннисных кортов, у нас ничего не получилось. И специалист-мастер, приехавший из Англии, объяснил, что хорошую траву надо выращивать 200 лет. Даже прекрасных женщин воспитывают в оранжерейных условиях, в специальных институтах, вроде Института благородных девиц. И воспитываются они тоже веками. А искусство — это прекрасная женщина. Знаете, как сказал Ломоносов, — музы это такие девки, которых завсегда изнасиловать не можно. И потому в этом соревновании, когда с одной стороны талантливые, но имеющие недостаточную культуру русские люди, а с другой стороны очень бойкие, ко всему приноравливающиеся, имеющие европейский выход и связи с разными левыми организациями на Западе и защиту этих организаций евреи, то соревнование получается чаще всего не в пользу вот этой русской прослойки 3).

О.Д. Что вы думаете об эмиграции? Не кажется ли вам, что это двойная трагедия раздираемой на части культуры?

Н.Н. Не секрет, что уезжают в основном те евреи, которые не могут здесь особенно проявить себя. В массе своей. Конечно, отдельные яркие индивидуальности тоже покидают страну. И писателей довольно много уехало. Ну как много? Около десятка... Много ли это или мало — я не знаю. Но в основном отток страшный был из Молдавии, из Грузии, из Латвии; людей, которые даже носили грузинские, бухарские, латышские фамилии. Если количественно посмотреть на это — это не так уж много. Всего 30 тысяч в год.

О.Д. Влияет ли это на судьбы России? Как можно определить то, что происходит? Сам процесс?

Н.Н. Я думаю, что в глубине еврейской души начинается какой-то процесс осознания, что ей не место здесь. Мне так кажется. И это еще только первые ласточки какого-то движения. Я думаю, что часть еврейства ассимилируется. Сейчас ведь проблема полукровок — одна из главных проблем нашей культурной жизни. Потому что из них получаются либо крайние фанатики-сионисты, либо крайние антисемиты. Я, например, почти уверен, что один (не буду называть его фамилии) из авторов антисионистских брошюр — необыкновенно резких — по всей своей физиономической и психологической структуре как раз ярко выраженный еврей. Наверное «полтинник»... При чем ведь это проблема полукровок — какая кровь победит?.. Остается вот эта агрессивность. Уж что русский человек? Русский человек не может быть антисемитом. Для него это не является проблемой проблем. Ему мешают конечно, но он об этом не говорит каждый день. Но вот эти заводи́лы из того и другого лагеря... Очевидно, все же величие еврейства заключается в том, что оно всегда оставляет своих людей во всех лагерях, во всех партиях, чтобы в случае любого столкновения кто-то из них победил...

А все-таки русские люди ощущают и несут в себе какой-то единый дух. Он может быть не всегда уловим определенно, но в дни переломные, в исторической трагедии, когда ставится на карту судьба страны и родины, всякий раз возникают одни и те же имена, одни и те же клятвы и обра-

щения, кто бы ни был в данный момент оратором, носил ли он корону или что-нибудь другое. И Алексей Толстой, во многом аморальный человек, который мог легко менять свои убеждения, в 41 году заговорил как настоящий патриот. И совершенно от чистого сердца. Его статьи о родине я считаю лучшим из того, что он написал. Это идущее от сердца, от сознания того, что уничтожается нация. Вот в эти моменты в русском человеке взрывается какая-то глубинная бомба, которая поднимает со дна нечто такое, что погружено, как летающая тарелка, в Маракотову бездну. И объяснить это очень трудно, и невозможно. Как и известные слова Тютчева... Да и все великие мыслители наши об этом же самом говорили. Мне кажется я смотрю оптимистически на будущее. Даже если произойдут какие-то отделения от нашего государства; какие-то отдельные нации могут действительно воспользоваться ленинским принципом самоопределения. Сама русская нация — могучая нация вместе с украинской и белорусской. Главная проблема, и об этом писали еще в эмиграции (кстати, писали евразийцы) — важность союза украинцев с Россией. И все сепаратистские украинские тенденции как раз очень опасны, очень вредны для будущего нашего народа, нашей культуры, вышедшей ведь из общего. Еще я считаю, что без ущерба для нашей коммунистической идеологии, в нашей жизни будет возрастать роль православной церкви. Церковь все-таки оживает и, когда я встречался с митрополитом Ювеналием, после поездки в Польшу, и стал ему рассказывать о том, как поляки чтут католицизм и церковь и какое место она занимает в ду-

ховной жизни народа, он сказал : — Ну что вы ! Мы только начали мириться с государством. Но этот процесс неизбежно будет расширяться. И я считаю, что в этом нет ничего опасного. Может в соединении этих двух идейных течений и родится нечто новое, что и будет знаком оздоровления нации... А что касается еврейства, то оно либо рассосется, либо будет иметь возможность покинуть, если оно не захочет ассимиляции, страну. Потому что ни в искусстве, ни в культуре не может быть человека, который бы не чувствовал себя до глубины души принадлежащим к той нации, от имени которой и от имени культуры которой он говорит. Это невозможно, это нонсенс. И в это я очень светло и оптимистично верю, хотя и понимаю, что жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе... 4).

*Интервью подготовил к печати
Олег Дмитриев*

Андрей Синявский

НАЗЫВАЯ ИМЕНА...

Сноска первая. никоим образом я не пытаюсь здесь обсуждать широкую проблему антисемитизма в России с разных ее, объективных, русско-еврейских сторон : « есть и такой довод, есть и такой довод, есть и такой довод... » Просто хотелось бы поставить некоторые акценты или точки над *i*. Поэтому, используя сноски как способ диалога и полемики, я придираюсь к словам не-

известного ответчика и продолжаю их, быть может, немного дальше, чем он намеревался сказать, — с тем чтобы выявить и прояснить позиции. Начинаю от Мономаха (вышеупомянутого), при котором на Руси, говорится, были первые погромы евреев, дошедшие до нашего времени. Крещение — от Владимира Святого, а погромы — уже — от Владимира Мономаха! Вот как давно, от корня, повелась традиция, продолженная затем русскими классиками, от Державина и до Чехова. Так не пора ли и нам воскликнуть, опоясавшись Мономахом?.. Пора! Но нет все еще указания от начальства...

Однако главное зло пришло на русскую землю с разделом Польши, при императрице Екатерине Великой. Тогда нам *они* и достались подарком, заложенным в отошедший кусок, как адская машина, с расчетом на историю, когда все это взорвется. Напрасно мы (хотя и предусмотрительно) воздвигали границы. Просочились! С какой жалостью сказано: и это «*все, что удалось сделать России*» — черту оседлости! Но и за чертой очертавшись, они прекрасно обосновались. Сами вина не пьют, гады, но спаивают и разоряют народ (ссылка на Карла Маркса, подкрепленного Державиным).

Любопытно, что автору, у которого берут интервью, человеку, можно заметить, широко осведомленному, как-то в голову не приходят иные альтернативы: а может, нам пить не надо, ребята, чтобы оставить жидов с носом при их сучьих винокурнях? А может, и Польшу не стоило делить: пуцай евреи ляхам вредят!?. Нет, оказывается, и Польшу надо делить, и без вина какое

ж веселье... Вот куда бы только деть этих евреев, чтобы нам не спиться, но Польшу, Польшу оставить при себе?..

Сноска вторая. Голубая мечта: создать (наконец-то) « Антисемитскую антологию » на базе русской классики. Тогда бы мы про них, про евреев, всё узнали!.. Чего же негодовать после этих обобщений, что ответно какой-нибудь ошеломленный еврей в израильской « Неделе », или в « Сионе », принимается доказывать, что все русские, вся русская культура проникнуты не только антисемитизмом, но — ксенофобией? Приводя те же священные примеры — Чехов, Достоевский... Дескать, слова доброго мы не сказали никогда о чужом народе, живущем рядом с нами... Можно, конечно, припомнить длинный список имен и высказываний другого, противоположного сорта: Толстой, Короленко, Горький, Цветаева... Но надо ли? Достоин ли подобный подход (по юдофобскому принципу, только с обратным знаком) — русской словесности и словесности вообще? Ведь даже гоголевский Янкель не однозначен в своей пархатой роли и, как образ, интереснее, оправданнее нашей врожденной и скучной нелюбви к евреям... Впрочем, проблемы искусства и литературы меньше всего волнуют составителей « Антологии ». Важно заручиться знаменем, авторитетом (Владимир Мономах, Чехов...) Уж ежели сам Чехов (махровый интеллигент!) был антисемитом, то нам сам Бог велел. С Чеховым нам и чорт не страшен. С Чеховым и сам Сталин, с его « *национальным оздоровлением политических кадров* » (какая, однако ж, хорошая, обтекаемая найдена формулировка сталинскому террору), милее этих

клопов, переползающих быстренько, чуть начнут их выпаривать, в «матрас культуры». Нет, чтобы задаться вопросом: а где прикажете евреям приложить силы и разум, если и медицину для них закрыть, и шахматы, и аптеки, и физику, и математику (вот только без бомбы, как без Польши, нам не обойтись и, смотрите, опять еврей лезет!)? Мой следователь на Лубянке, В.А. Пахомов, как-то на допросе пожаловался: что такое? почти все адвокаты — евреи! Я ответил: да, вероятно, оттого, Виктор Александрович, что евреев не пускают в прокуроры и в следователи КГБ. И вот они идут в адвокаты... Так он обиделся: видите, Андрей Донатович, — вы опять клеветеете на Советскую власть! — Но я не клеветчу, я спрашиваю себя: куда деться еврею, если сюда нельзя, и туда не пускают? И вот уже и аптеки, и адвокаты у нас не те... И наука, и литература... Один ответ, одна рекомендация: сгинуть с лица земли!..

Сноска третья. Второй сорт?.. Ну а Маркс, а Эйнштейн? Не хочется уже говорить (всуче) ни о Ветхом, ни о Новом Завете... Проблема, однако, иная: почему-то еврейский «второй сорт» забивает, выясняется, нашу первосортную русскую культуру. А потому, отвечают, что первосортное дворянство и цвет интеллигенции либо истребили, либо выгнали за границу, а «травку», как говорят англичане, надо выращивать 200 лет по крайней мере и рабочие-крестьяне этого еще не умеют... Я готов согласиться и с «травкой», и с дворянством. Но разве евреи в своих вшивых местечках, в черте оседлости, 200 или, пускай, 50 лет выращивали эту русскую литературную

« травку », с тем чтобы в первый же удобный момент (революция и все — равны) нас опередить, обскакать Бабелем или, допустим, Мандельштамом?.. Нет, не выращивали, но почему-то обскакали, хотя лично я в этом не уверен... Кстати, о Мандельштаме. Такой же, как здесь, у нас, интеллектуал заявил недавно (молва приписывает этот парадокс известному советскому литературоведу П. Палиевскому), что « Мандельштам — это еврейский нарост на теле Тютчева » и вообще, дескать, нарыв на русской литературе. Вот и *наш* подтверждает. Оказия! « Малограмотный читатель, который впервые раскрывал книгу » очаровался Бабелем, Ю. Олешей (это *малограмотный-то!*) и вообще « *чистым искусством* », которое по своей безнравственности и бездуховности выдумали евреи, чтобы нас, русских, унижить. Пусть к « чистому искусству » в начале прошлого века приложил руку Пушкин, а в конце сторонником этой « еврейской идеи » был Брюсов, противостоя, как известно, популярным тогда, гражданским скорбям еврея С.Я. Надсона... Стоит ли ссылаться на факты, противоречащие схеме? Ведь суть и цель схемы доказать уже заранее, что евреи проникли *повсюду* — всюду, где только можно, чтобы в случае чего иметь « своих » в любой отрасли, в каждой партии, во всех пунктах русской истории, будь то революция, большевики, меньшевики, чистое искусство, социалистический реализм, метафора, религия и даже антисемиты... Такова уж всепроникающая еврейская затея.

Эту концепцию, поистине всеобъемлющую, я бы назвал *детективным* пониманием истории и культуры. Сложные, органические процессы объ-

ясняются вмешательством « заговора », « мафии », « инородца », проникающих, как микроб, в нетро-нутое тело истории. Будто не мы творим дей-ствительность (хотя мы — « творцы » !), но кто-то востроглазый и ловкий всегда поспекает нас опе-редить. Советская пресса все так и объясняет : « поджигатели войны », « сионисты », « диссиден-ты », « мировой империализм »... И это, надо при-знать, находит известный отзвук в народном со-знании. Испытав море бедствий (при светлых го-ризонтах), мы ищем первородное зло и, не нахо-дя в себе, оглядываемся : должна же она где-то прятаться, эта загадка всечеловеческих несчас-тий?! Раньше были « сицилисты », « масоны », « скубенты », а теперь — евреи. Раньше был « дьявол », который все объяснял, вовлекая нас, вопреки разуму, в грех, а теперь — еврей. Прак-тика выискивания и истребления « врагов наро-да », осуществляемая — стократ — марксистско-ленинской партией, упала на благодатную почву. Давно уже « враг рода человеческого » препят-ствовал и препятствует нам достичь Царствия Небесного — здесь, на земле. Об этом, на заре революции, сказано у Александра Блока в « Две-надцати » : « вот проснется лютый враг! » А в реальности, в поэме, никакого « врага » нет, кроме Иисуса Христа и нашей больной совести. Сколько крови мы пролили, стреляя по « незримому вра-гу » !..

В народной метафизике эта версия « зла » глу-бока и трогательна по-своему. Есть что-то дет-ское, а значит, и прекрасное, в том, что человек (народ) ощущает себя (где-то в идеале) безгреш-ным. Поэтому он и не хочет идентифицировать

зло с собственной душой, но выносит его куда-то за скобки, с тем чтобы легче его было отринуть, от него освободиться: «евреи — виноваты, не я — евреи!..» Словно стонет. Или жалуется кому-то...

Однако на уровне идеологии, у наших интеллектуалов, все это становится уже не «темным невежеством» (имеющим свои положительные, иррациональные корни), но — пощечиной и оскорблением, походя, русскому народу и собственной, русской истории. Нужно где-то глубоко, пускай неосознанно, презирать свой народ и себя, чтобы все приписывать горстке таинственных инородцев. И революцию они нам подстроили, и Распутина, и «чистое искусство», и антисемитизм, и медицину, которая сперва покушалась извести Державина, а после — и самого Сталина... И сельское хозяйство они нам разорили, и русский язык испортили... Бедные мы, бедные! Захватили полмира, а все нам «еврей» покоя не дает. То китайский еврей, то какой-нибудь декадентский, американский, медицинский... И все несчастья великой страны, и все ее «роковые мгновения» выводить из какого-то мелкого «еврея»?! Комплекс неполноценности, мания преследования разрослись у нас заскоружлым советским бытом — с жаждой выхода, кровью, как бывало не однажды... Но если нас, могучих богатырей, добрых, умных и готовых стать во главе мира, попутали второсортные и малочисленные проходимцы, повернув нашу историю и культуру куда-то не туда, то какова, спрашивается, *нам* цена в этой детективной концепции? Стоит ли, спросим себя, после такого позора нам и жить на белом свете?!

Сноска четвертая. Итак, евреям предоставлено два выхода, два права : либо убраться подобру поздорову в свой Израиль (наконец-то они догадались и « в глубине еврейской души начинается какой-то процесс осознания, что ей не место здесь »), либо — ассимилироваться. Оба « выходы », по сути, — мнимые. Ибо « *ассимилированный еврей* », как видно в изложении этого предмета, хуже, вреднее « *настоящего еврея* » : неуловимее и ловчее проникает он, развращая, в русскую жизнь и культуру, оставаясь между тем, сколько ни ассимилируйся, все-таки — *евреем*. Разительный пример — Паустовский. Даже (и тем более) еврей-полукровки : из них-то, сказано, и формируются самые ярые фанатики сионизма и антисемитизма в России, множа межнациональную рознь. С другой стороны, Израиль, будучи выходом для какой-то части евреев, тоже не решает проблемы. А что было делать, когда не было Израиля или туда не выпускали ? И как быть с теми, кто не может или не хочет уехать ? И, наконец, для нас психологически, в этом контексте, Израиль — как панацея — что-то вроде Преисподней : « Да провалитесь вы в свой Израиль и не мешайтесь в наши дела ! » Все равно что сказать : пошел к чорту !..

Странно, однако ж : « еврейский вопрос », казалось бы, в последнее время жизненно не такой уже острый для нас, для русских (и поуменилось евреев, и не дают им ходу, и давно уже отставлены от огнеопасных, руководящих постов), вдруг — в сознании — приобретает роковой характер дилеммы : жизнь или смерть нации и культуры. Или — или. Или мы — или они.

Здесь ломаются копья и кладут головы. Здесь, на « еврейском вопросе », кипит будущее России. Почему? О чем речь?..

Речь, по моему убеждению, идет не просто о евреях, но о русском или советском фашизме, как растущей идейной тенденции, которая все смелее дает о себе знать, может быть и впрямь знаменуя наше светлое будущее. Понятно, далеко не всегда всякий там антисемитизм тяготеет к фашизму. Но в обратную сторону — на современной российской почве — такая принципиальная связь, вероятно, неизбежна, обращая « еврейский вопрос » в краеугольный камень истории и в острие доктрины, претендующей на крепкую власть в умах и в государстве. К настоящему моменту, насколько мне известно, имеется в Советском Союзе три, в основном, разновидности этой боевой идеологии, создающие попутно многообразные по оттенкам и альянсам варианты, более или менее последовательные в национальном своем экстремизме. Герой нашего интервью, напримр, высказывает сравнительно мягкие еще, либеральные или осторожные взгляды, и всё же они характерны для этого круга идей.

1) Официальный, коммунистический фашизм, для которого марксизм лишь удобная форма, оболочка, позволяющая играть « интернациональную » (всемирную) роль : « Пролетарии всех стран, соединяйтесь !.. » На « пролетариев » — плевать ! Но положение Великой Империи, контакты с другими странами и компартиями, ключевые позиции в Азии и в Африке, все это требует более гибкой и широкой фразеологии, нежели голый

пафос национального кулака. Откровенный фашизм, как идея, не настолько универсален, чтобы удержать в руках все эти международные, скользкие награды и завоевания. Да и сила привычки, традиции, консерватизм ума, языка... И оттого диктатура в Советском Союзе не решается себя проявить в своем чистом, фашистском виде. Будет худо — проявит.

2) Наивный или откровенный фашизм (без эпитетов). Для него и Маркс, и Христос, либералы и коммунисты, Средние Века и современная Америка суть очередные диверсии международного еврейства, с которым надо бороться на строго национальной основе. Если нужна религии — то были же и у нас раньше свои, исконные боги — Перун, Ярила, Велес, покуда хитрецы-евреи не подсунули две бомбы замедленного действия, специально для этого ими и сочиненные, сперва — христианство, а потом, когда христианство разоблачили, — марксизм. На знамени написано: «Нет Бога, кроме Тора, и Гитлер его пророк!» Мало шансов на успех — за узостью платформы, но может соединиться с более жизненными и широкими программами — с первой и с третьей.

3) Православный фашизм. Поскольку русскую нацию трудно обосновать и вывести по чисто расовому признаку (понамешано здесь и татарской, и финской крови, и где они, увы, арийские черты?!), выдвигается религиозный фундамент: «кто не православный — тот не русский», «православизация мира», «Третий Рим», «всемирная теократия» и т. д. Эта идеология способна и противостоят коммунизму — справа или слева (по-

этому за нее кое-кого сажают)*). Но здесь же возникают и мирные проекты: тесное сотрудничество Компартии и КГБ с одной стороны, и Православия с другой, как всеобъемлющей религиозной идеи, которая, замещая марксизм, оставляет в сохранности и форму диктаторской власти, и стремление к мировому господству.

Должен признаться, на мой субъективный взгляд и вкус, этот «православный фашизм» наиболее опасен и само сочетание — Православия с тоталитарной властью под христианскими знаменами (или подмена Государства — Церковью, Теократией), сулит надругательство, какое на Руси нам и не снилось. Заранее можно представить: победи эти идеи, и мы получим еще одно кровавое и пародийное Царство Божие на земле, каким уже был для нас марксов «социал-коммунизм»... Только страшнее, кощунственнее — оттого, что на сей раз это сделать обещают именем Христовым (запятнав), собирая под слепые хоругви толпы изголодавшихся по вере и по крови подвижников, Церковь обратив (Церковь!) в новый тюремный застенок...

Что подобные утопии не плод моего больного воображения, а грозящее нам реально, хоть и проблематичное, будущее, — я попробую пояснить

*) Справа или слева? Я как-то спросил одного идеолога, прямо и спокойно рекомендовавшегося русским фашистом: почему же непременно **фашизм**? — Как вы не понимаете, — он ответил, — нужна **левая** активная сила, чтобы одолеть большевиков **слева**: клин вышибают клином...

Возможны, впрочем, и «правые» реминисценции: «соборность», монархия, союз Церкви и Государства (о последнем, кстати, мечтает и герой нашего интервью).

иллюстрацией из собственных моих диалогов с носителями доктрины « православного фашизма ». Но хочу оговориться, что все это покамест не практика, а теория, довольно отвлеченная (на манер идей Чернышевского в романе « Что делать ? »), так что и предъявить какой-то счет невозможно. Не убийцы и не палачи перед нами, а « рыцари идеи », люди весьма достойные порою, из тех, кому дайте убивать и не скажет ли, отступая : убейте меня первого !? И тем не менее... И вторая оговорка : диалоги эти или, если угодно, « интервью », которые я намерен теперь продемонстрировать, выбраны из разговоров с несколькими людьми, близкими друг другу по взглядам и по духу, но подчас не знакомыми между собою (правда, все они находились в оппозиции к режиму). Здесь же они, ради удобства, выступают как бы от лица одного, давнего уже моего, многолетнего оппонента, споры с которым, однако, не носили характера личной вражды и взаимного недоброжелательства, а выражали всего лишь разные точки зрения в дружественных беседах. Другое дело, что в устной дискуссии мы говорим иногда больше и яснее, чем позволили бы себе на бумаге, в виде политической или нравственной программы...

Помню, закрыли « Новый мир » Твардовского, и мой оппонент (диссидент !) радуется :

— Наконец-то, — говорит, — придавили этот жидовский орган ! Легче стало дышать...

— Позвольте, — говорю, — все-таки « Новый мир » был единственным на всю Россию мало-мальски либеральным журналом. Через него всё

же хоть что-то просачивалось : « Иван Денисович », например, и вообще...

— Вот это и плохо — отвечает. — Либеральные евреи в « Новом мире » разлагали широкого русского читателя... Америка — прожидовела. Европа — прожидовела. Нехватало, чтобы русский народ прожидовел, заразившись либерализмом... Нет! Россию надо подморозить!

— Как же так?! — удивляюсь. — Ведь афоризм Константина Леонтьева относился к православной России, а вы к — большевистской, чекистской?.. Куда — *эту, нашу* — дальше подмораживать?!

— А чтобы не сгнила, — возражает, — под влиянием евреев. В подмороженном виде, после чекистов, мы ее получим — невинной...

— Так, может, по этой логике, вам стоило бы объединиться с чекистами?!

Не нравится. Нос воротит. Идеалист! В том-то и беда! Мы привыкли, что « фашисты » это какие-то изверги, и четкий идеологический профиль принимаем за ругательство. А фашисты, между прочим, не изверги, а такие же люди идеи, мировоззрения и, случается, — праведники, христиане... Вспомним Феликса Эдмундовича. Ведь какой чистоты души был когда-то человек!.. Но я сопротивляюсь : ведь тоже вроде бы и сам православный. Даже — славянофил! Спрашиваю :

— А как же Христос и — насилие?

— « Не мир, но меч » — сказано!

— Но Бердяев, Бердяев, на которого вы любите ссылаться, ведь не был антисемитом! Напротив...

— И Бердяева, Андрей Донатович, надо развивать.

Да-а, развивали Маркса, а теперь развиваем Бердяева. Ладно! Машу рукой.

— А что вы, конкретно, собираетесь делать с малыми нациями в «единой и неделимой» России, когда победите? С Прибалтикой, например?

— Латыши, литовцы были и останутся рабами России.

Так и говорит: «рабами»! Ну и терминология...

— А Украина?

— Укрина — это вообще не нация. Смешно! Украинский язык — искажение русского языка. Простонародный диалект южной ветви...

Тут меня осенило, и я спросил: а что если бы вдруг, допустим, чисто гипотетически, мой оппонент родился не русским, а украинцем, например, — он бы так же рассуждал?.. Последовал немного наигранный, как мне показалось, демонический смех:

— О, будь я украинцем, я был бы крайним сепаратистом, уверяю вас. Я был бы фанатиком Украины! И ненавидел бы все русское...

Эге-ге, смекаю, — так, значит, братец, все зависит, в какую обойму тебя загнали?

— Ну а как с евреями?

— Могут убираться в свой Израиль. Мы не большевики и не станем препятствовать...

— А те кто не захочет? Мало ли какие евреи! Есть же русифицированные... Или просто — привыкли, сжились...

— Эти пускай пеняют на себя...

— Убивать станете?

— Пусть уезжают! Им здесь не место!

— И детей, — спрашиваю вкрадчиво, — будете уничтожать в газокамерах? И детей?!

— Андрей Донатович, не будьте наивным человеком. Когда уничтожают крыс, скажите, думают ли о крысенятах?..

Ничего не остается, как встать и раскланяться:

— Тогда, предупреждаю заранее: как русский человек и писатель, я буду против вас в вашей будущей, православной России...

Усмехается:

— Посадим, Андрей Донатович. Посадим!..

— Так мне тогда предпочтительнее сидеть, извините, в большевистской тюрьме, нежели потом — в вашей православной...

.. Вот какими речами обмениваются иногда «русские мальчики», сидя не в трактире, а в лагере...

Литература

и искусство

Наталия Рубинштейн

ДОМ БЕЗ ПОЭТА

— Пиши мне так : Крым. Коктебель. Дом Поэта. Волошиной. Я этого вашего глупого слова не знаю — Планерское...

— Мария Степановна, так ведь не дойдет...

— Напишешь, так дойдет.

Три года прошло. Так я и не написала. А теперь уже некому писать.

Мария Степановна Волошина немного не дожидала до столетней годовщины со дня рождения Максимилиана Александровича. К этому сроку она ушла к нему, а к уходу готовилась всю жизнь, все сорок пять лет, что провела в коктебельском доме одна, без него. Сорок пять лет ее вдовства заслуживают того, чтобы быть названными не теми первыми словами, которые приходят в голову, легко прилагаются едва ли не ко всему на свете и почти ничего не выражают. Не годятся ни « подвиг », ни « подвижничество ». А если вот так — « продолжение »? Она была постскрипум к его судьбе, продолжение живого присутствия поэта в делящейся без него жизни, она продлила его земной век до столетия, и только теперь, вместе с ней, он окончательно ушел от нас.

Что остается вообще после ухода поэта? Только ли стихи?

Так от Пушкина досталась нам эпоха: поэты, говорим, пушкинской поры, театр пушкинского времени (почему, спрашивается, не грибоедовский театр?) и даже «пушкинский стул» или «ложка пушкинская», и это не значит вовсе, что владеем мы вещью из пушкинского обихода, — просто мечено в уголке годом каким-нибудь 1834, 1837, точно Пушкин в том году не только стихи писал, но и стулья и ложки самолично делал. Полстолетия крашено в пушкинский цвет.

Что осталось от Дениса Давыдова? Книжка его стихов не тяжелее будет той, что наберем из стихов, ему посвященных. Но, говоря по чести, стихи эти, им вызванные, тоже ведь как бы его создание. Не уместился весь человек в строфу и остался в сознании нашем не только книгой, но и образом, обликом — седым чубом, кивером, усами...

Веневитинов... Двадцать два года. Тсмик «Библиотеки поэта». Никто, кроме специалистов, не читает. А знают все. Что знают? Зинаида Волконская... Несчастливая любовь... Гениальный юноша... Не так стихи сохранили нам этого поэта, как живая легенда.

Ближе к нашему времени от поэта остаются две вещи — стихи и мученическая биография. И еще иногда — вдова. В наше время писатель не может позволить себе легкомысленно жениться на первой красавице, которая после его смерти выйдет замуж за генерала и благополучно доживет свой век среди детей и внуков. Выбор жены, будущей вдовы — правда, ей еще и при жизни супруга могут выпасть на долю совершенно фантастические приключения, которые потребуют недю-

жинных, неженских качеств, — дело в высшей степени ответственное : выбирая себе вдову, писатель выбирает свою посмертную судьбу, судьбу своих рукописей и часто своих идей.

По смерти Максимилиана Волошина от него остались — стихи, статьи, акварели, Дом и Мария Степановна. Всё вместе взятое — это и есть самое полное собрание его произведений, и все они в равной степени отмечены его печатью и есть детища его духа.

В серебряном чаду поэтического начала века подспудные содрогания почвы были зафиксированы не раз, но когда из лирического гороскопа сокрушение мира перешло в разряд газетных известий, никто более Волошина не оказался готовым встретить накликаемую катастрофу и предсказанную кару :

Верю в правоту верховных сил,
Расковавших древние стихии,
И из недр обугленной России
Говорю : « Ты прав, что так судил... »

Вот почему Волошин, для которого Европа была знакомым, давно обжитым домом, остался после революции в своем коктебельском углу.

Вот почему Мария Степановна прожила одинокую бесстрашную жизнь в пустом доме, открытом всем набегам и всем ветрам. В доме этом обитали тени, и пока Мария Степановна жила в нем, оставались рядом с нею — и, может быть, ради нее — не только Макс, но и Пра, и Марина, и Белый, и Елизавета Дмитриева (Черубина) и другие, другие, вовсе с ней не знакомые, персона-

жи из иных пластов волошинской жизни. И сколько среди них было таких, которые не признали, не приняли бы ее при личной встрече! Ибо Мария Степановна к «серебряному веку» не принадлежала.

В Коктебеле рассказывали две легенды о том, как Маруся появилась в Доме. По одной — Макс подобрал на дороге умиравшую от голода фельдшерицу, принес ее в дом и вылечил. А по другой — она выходила его во время смертельной болезни и осталась с ним навсегда. Ясно, что обе версии истинны, ибо свидетельствуют одно и то же: встречу на границе между жизнью и смертью. Максимилиан Волошин был — до известной степени — человекотворец, что явствует из сюжета с Черубиной-Дмитриевой, воспоминаний Цветаевой, писем Аделаиды Герцык. Отношения чистой дружбы, где душевное влияние и взаимодействие свободно от темного накала любовной страсти, Макс любил и умел строить, как самые завлекательные романы. В жизнь фельдшерицы, подобранной им на крымской дороге, он вложил новый смысл и новое значение; ему посчастливилось встретить душу, способную наполниться его дыханием. В этом смысле она была как бы им сотворена, как бы сошла с его руки. Но ничего не было в ней от восторженной, слюнявой ученицы-поклонницы. Она и при Максе всегда была деспотической хозяйкой, языка и голоса которой побаивались бесцеремонные гости. Она и на Макса покрикивала сердито и уверенно, что до нее позволяла себе только одна женщина — Елена Оттобальдовна, Пра, мать Макса... Она могла ведь и такое себе позволить, что...

Вот рассказ близкого волошинскому дому человека (по особенностям нашего времени не могу — жаль! — назвать рассказчика).

Дом Макс «подарил» Союзу писателей принудительно-добровольно. Прижимали фантастическими налогами, угрожали вполне реальными преследованиями — «подарить» значило защититься, снять с себя ярлык собственника, отказавшись от целого, спасти часть и на эту часть получить охранную государственную грамоту. Оставив себе верх, Волошин подарил нижний этаж с пристройками писателям. Когда выяснилось, что отдыхающие внизу писатели плотно прослоены отдыхающими чекистами — власть не видела между ними больших различий: и те, и другие инженеры человеческих душ, — Волошин в гневе и ужасе убежал на берег моря. Мария Степановна бросилась за ним с истошным воплем: «Макс, веревку хватай, веревку! Нам вешаться, а не топиться! Моря не хватит смыть наш позор!..»

При Максе еще в дом пришла весть о расстреле Гумилева, о гибели Дмитриевой. Без него — о самоубийстве Цветаевой, смерти Мандельштама. В пустом холодном доме все теснее поселялись тени, Дом превращался в остров памяти. В городах — в библиотеках, музеях, издательствах — делали вид, что и теней этих не было, там снимали портреты, вымарывали имена из оглавлений, изымали с полок книжки. Память жила только тут — в изгибе Коктебельской бухты. Только здесь не пересматривали каталоги, белыми пятнами не замещали любимых лиц. Дом стоял не подвластный абсурдным наваждениям настоящего — воля

маленькой, сердитой, полуголодной женщины защищала его.

Дети и внуки Максовых друзей, приятели его приятелей навещали этот обойденный чумою Дом. Здесь на секунды вновь связывались концы размененного у стенки Максowego времени, чтобы за порогом этого Дома распасться снова. Безнадежно и упорно — а фон: коллективизация и индустриализация, марш энтузиастов, если враг не сдастся, его уничтожают, идет война народная, священная война, спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство, о преодолении культа личности и его последствий, — безнадежно и упорно Мария Степановна охраняла память об отмененном времени. Не было никаких гарантий, что она доведет свою хранительскую деятельность, да и просто свою человеческую жизнь, до обычного конца. Но она об этом не думала. Макс был мистически прописан в коктебельском краю. Профиль его — с очевидностью, именно его профиль, — не какое-нибудь там надуманное отдаленное сходство — нависает над бухтой и теперь, как нависал задолго до его рождения. Утром и вечером, выходя на террасу, Мария Степановна ежедневно видела перед собой знакомый светлый контур в воздухе. Радость это была или мука? Что были для нее эти встречи?

Она дожила до того времени, когда оказалось возможным устроить несколько небольших выставок волошинских акварелей, она увидела изданным альбом его работ, она чуть-чуть не дотянула до томика в Малой серии «Библиотеки поэта». Она читала диссертации о волошинском времени и увидела в печати восстановленными в правах

многие имена. Все это значило, что стабилизировавшаяся власть больше не боится теней и достаточно уверена в себе, чтобы попытаться присвоить чуждое ей наследство. Но так или иначе память выстояла и победила беспамятство. И хранительнице памяти уже можно было уйти.

Я думаю, в день смерти Марии Степановны Волошиной десятые годы, случайно задержавшиеся в уголке Коктебельской бухты в Крыму, навсегда покинули Россию. Перед смертью Мария Степановна завещала дом в дар Феодосийскому краеведческому музею. Но музей — только склеп ушедшему времени, только памятник. При Марии Степановне дом был не памятник — память, не склеп — склон, по которому медленно стекала отставшая от общего потока капля времени.

В мастерской — мольберт и кисти, палитра Остроумовой-Лебедевой и конторка Алексея Толстого. На книжных полках книги издательства Маркса, братьев Сабашниковых, гржебинские сборнички. И сразу видно их отличие от тех, таких же, что стоят у меня. Мои — разысканные, выбеганные по букинистам, одряхлевшие и потасканные аристократы среди добротных госиздатовских нуворишей. Здешние — давние жители, пришедшие в дом в свой час, равные среди равных, они ничего не знают о собственном возрасте и потому выглядят моложе и спокойней моих. Они не раритеты — рассказчики. Я старых книг друзьям не даю. Эти можно брать читать на чердак или на террасу :

- Мария Степановна, можно мне Штейнера ?
- Бери. А лучше почитай ты мне Лескова.

Она не против была чтения Штейнера. Но не нравилась ей эта модная тяга по верхам, когда, не ошибаясь, думала она, стали мы хватать вчерашнее недозволенное, за одну лишь недозволенность.

— Основы у вас никакой нету. Вон Виктор позапрошлого лето все Фрейда глотал, в прошлом году у меня на террасе гимнастику йогов делал, а приехал неделю назад — он уже христианин... Ну дай Бог, дай Бог...

Огромные разноцветные раковины, привезенные хозяином с Индийского океана. Дешевенькая деревянная химера, купленная у продавца сувениров возле собора Нотр-Дам. Черный, плоский и пористый кусок дерева с тусклым пятном медного гвоздя.

— Макс притащил однажды с моря. Кричит : « Маруся, я нашел кусок корабля Одиссея ». Иосиф Абгарович Орбели подтверждает : кусок обшивки античного судна.

И никогда не говорилось : не трогай руками. А говорилось так : « Ну чего там опять без толку по полкам шарить. Взяла бы тряпку. Хорошо, я слепая, грязи не вижу. А все лучше, вытерла бы пыль ».

А теперь и химеру, и раковины, и корабельный бок накроют стеклянными колпаками, наклеят этикетки и на картонке напишут : « Руками не трогать ». Возле белого гипсового лика Таиах, вдоль двух небольших диванчиков протянут красные шнуры на столбиках : « Не заходить ». А на этих диванчиках, на ступеньках, на полу возле самой Таиах мы рассаживались тесно в день памяти Гумилева, чтобы слушать стихи, которые

хорошо или плохо, кто как мог и умел, читали в звездный августовский вечер. Теперь, после смерти Марии Степановны, остался ли хоть один дом в России, где соберутся 24 августа читать вслух Гумилева?

В доме Волошина не заботились ни о «хорошем стиле», ни о строгом вкусе. Над лестницей портрет работы Диего Рибейры, на стенах Богаевский и Остроумова, а вот прижата к стене кнопкой открытка — репродукция с «Венеры» Боттичелли. А вот и газетная вырезка рядом желтеет. Понадобилась, приглянулась хозяину — да так и осталась. Но единство и стиль были — как всегда бывает, если дом не собрание случайных предметов, а мир, несущий на себе отпечаток сложившейся его личности. Соберутся музейщики спорить об интерьере: что характерно, что не характерно, в стиле эпохи, не в стиле... А сколько в разных углах дома жило фотографий и портретов: родные, гимназический друг Пешковский (тот самый, что «Русский синтаксис в научном освещении»), Марина и Ася Цветаевы, Гумилев, Сергей Соловьев, Модест Гофман. А теперь начнут рассуждать, кого надо знать, кого не надо — «это имя ничего не говорит советскому человеку...» А альбомы, стопки фотографий, непроявленные фотопластины... Как вдруг от чьей-то безнадежной попытки выплыли с этих, все сроки просрочивших негативов смутные лица.

— Мария Степановна, а это кто?

Да где ей узнать! Она и чашку-то на столе с трудом видит! Но вот подносит к толстым очкам лупу, наклоняется, смотрит — и радостно, как при встрече после разлуки:

— А-а-а! Это милая-милая Поликсена Соловьева-Аллегро!..

В Доме всех звали по именам, и больших и маленьких. Близкие и Марию Степановну звали Маруся. Я не была с ней близка, но мой четырехлетний сын был. С утра, как другие дети: «Хочу на море», он заводил: «Пойдем к Марусе». Усаживался против нее на скамеечку, и он или она начинали: «Поговорим».

Беседы их, не очень длинные, всегда протекали наедине, и сын никогда не умел или не хотел их пересказать.

— Маруся тебе что-нибудь рассказывала?

— Нет. Мы просто разговаривали.

— Про что?

— Ну, про все...

Я боялась, что он утомляет ее. Сил у Марии Степановны последние годы было уже немного. Но она возражала:

— Пусть приходит. Пусть дышит Домом, запоминает.

— Да что он может запомнить?!

— Да хоть и забудет, а запомнится. Вспомнишь, Даня, меня, когда я уйду?

— А куда ты уйдешь?

— Куда мы все должны уйти.

— И я тоже?

— И ты.

— Нет, — Данька напрягается. — Я не уйду.

— Ну, как хочешь. Оставайся, если так.

Вечером Мария Степановна зовет нас слушать пение — Мария Николаевна приехала. Несильный, милый, немолодой уже голос. «Утро туман-

ное », « Гори, гори, моя звезда »... Мне нравится все — и что фортепиано расстроено, и каждый раз говорится, что надо из Феодосии привезти настройщика, и аккомпанемент моря, однообразный и сильный. И эта слабая попытка уйти от наглого наступления времени, шумящего в нижнем этаже писательскими попойками, а на пляже — транзисторными шлагерами и блатным гитарным перебором. Мне нравится, когда в столовой под лампой с бумажным, от руки разрисованным драконом абажуром по очереди читают что-нибудь невероятно длинное — « Соборян » Лескова.

Но назавтра кто-то предлагает :

— Маруся, мы тут ребят встретили из нашего института. У них есть один, он Высоцкого поет. Хочешь, приведем вечером ?

Мне эта затея кажется чудовищной. Своевольная взрывчатость Марии Степановны известна. Это может кончиться скандалом.

Парень поет хорошо, здорово поет. « Вылитый Высоцкий » : с отчаянной последней хрипотцой. В выборе он деликатен : « А на нейтральной полосе цветы... », « Мне этот день не забыть никогда... », « Штрафные батальоны ». Пожалуй, скандала не будет. И вдруг :

— Мария Степановна, я еще другие песни спою. Вы не рассердитесь ?

...Постой чужак, она же грязная,

И глаз подбит, и ноги разные...

...Ну что ж такого, что наводчица !

А мне плевать, мне очень хочется...

Молчит Мария Степановна. Певец расширяет свой репертуар :

...И нам с собою даже дал половничек

Один ужасно милый уголовничек...

— Вы это поете, — говорит Мария Степановна.
— Значит, вам это нравится, да? Мне это странно, но мне тоже нравится. Правда, не все. Вот про наводчицу — мне нравится.

И несколько дней она отбивается от дружеских забот цитатой. Когда говорят, что не стоит пить кофе, поздно, — «А мне плевать, мне очень хочется!» и когда доказывают, как неразумно затевать ей большую прогулку, — «А мне плевать, мне очень хочется!»

Она вообще не любила «слушаться», и хотя годы и нездоровье гнули ее и увеличивали бытовую зависимость от окружающих, вдруг ошарашивала «приближенных», сложивших вокруг Дома некое подобие «двора», разносами, скандалами и бунтами. И бывала временами чудовищно несправедлива к самым близким и преданным людям. И как сокрушалась потом:

— Самодурка я. Да. Жизнь меня не баловала. А вот друзья забаловали под старость. А что хуже избалованной старухи? Хотя у меня и смолоду характер был ни к черту. Я и Дом-то сохранила только потому, что характер страшный. Немцы пришли когда. Один вошел в дом. Ну, приглянулась ему статуэтка. Взял и в мешок уже класть хочет. А я к тому времени все, что важно, в землю уж закопала, и Таиах закопала, и другое все. Совсем почти одна. А эта вот стояла. И тут немец ее взял. Налетела я на него, кричу: «Я тебе в матери гожусь, сопляк, в матери. Муттер я, понимаешь, муттер. А ты вор, вор...» Ну, он видит

— сумасшедшая баба, ведьма. Выругался, фигурку бросил и ушел...

Я раз сказала :

— Как это вы, Мария Степановна, Дом от немцев, от разгрома уберегли...

Но мне даже и фразу не удалось кончить, так она засмеялась :

— Скажешь тоже, от немцев. Ты вот спроси, как я от наших уберегла ! Я и сама удивляюсь.

Впрочем, среди коктебельских отдыхающих, и « радяньских писменников » и простых смертных, именуемых « дикарями », всегда жило желание видеть волошинский дом своим, уже омузеенным, уже доступным, как дом Чехова в Ялте, как яснополянский дом Толстого, Михайловское или Тарханы... Они толпились у крыльца, собираясь в группы, требуя экскурсий, показа, рассказов... И их обижали наглые заявления хозяйки, что не в музее она живет, а в доме, в собственном доме, где гостей принимает и беседы ведет исключительно по своему вкусу и выбору. Самостийные экскурсанты не понимали этой мерзкой тяги к ограждению своей личной собственности. Ведь они точно знали, что искусство принадлежит им, народу, и прошлое принадлежит народу, то есть им, тоже. И не дожидаясь смерти этой старорезжимной старухи, они хотели щупать это прошлое руками тут же, у нее на глазах, по праву истинных наследников. Ведь единственно действующее ныне в России право культурного наследования — узурпация. Мария же Степановна была той частью волошинского наследства, от которого они готовы были с радостью отказаться — выселить, чтоб не мешала; да в крутые прежние дни упустили, —

кому был нужен забытый дом полузабытого поэта в глухом коктебельском углу; а уж в нынешние мягкие времена как-то и неудобно было. Приходилось ждать.

Но не каждой же группе отказывала Мария Степановна. То приглянется чье-то лицо в небольшой толпе : « Ради этих вот двоих и всех пускаю », то попросит профессор, давний знакомый, за своих студентов, да и начальству из Дома творчества не всегда откажешь — от него и покой зависит, и дрова зимой, и обед из писательской столовой. А когда и рада была рассказать. И рассказывала... О Пра, и о Максе, и о докторе Юнге, первооткрывателе Коктебеля для колонизации русской интеллигенцией, о странствиях, о встречах, с поэтах, о художниках...

Вот группа рязанских писателей интересуется... слушает... ну и вопросы задает... А как же ? Самое это их неотъемлемое право задавать вопросы, расширять кругозор, повышать идейно-политический уровень. Вот один, с начальственно раздобрившим лицом лакея :

— А пенсию, Мария Степановна, получаете от советской власти ?

— А как же. От смерти Максимилиана Александровича и до недавнего времени двести рублей старыми деньгами.

У жирного вопросов больше нет. Но тут уж кто-то попроще изумленно ахает :

— Да как же вы жили на такие деньги ?

— А на милостыню, — безо всякого выражения отвечает она, — максовых друзей подаянием.

И радовалась посетителям, и уставала от них, и обижалась, если не приходили, и гнала, если

надоедали. Раз пришел мальчик лет девятнадцати Миша Г., ничей знакомый. Просится только почитать.

Пять толстых машинописных томов — три стихов и два прозы — в сером коленкоре всегда лежат на столе в мастерской. Хоть сейчас можно нести в издательство. Да не видно было издателей. И такой вопрос у экскурсантов был тоже: « Почему не издают книг Волошина? » Мария Степановна привычно отвечала: « Вот и я вас о том же спрашиваю ». Или: « Вы писатели, вы и хлопочите ».

В годы нашего оживленного интереса к « Новому миру », Твардовскому — она нашего увлечения не разделяла. О Твардовском рассказывала: — Был он тут. Говорили ему, стихи носили. Да он и читать не стал. У него уж было мнение: Волошин, сказал, незначительный поэт, справедливо забытый. Да уж конечно, « справедливо »! Он-то сам до тех пор только значительный поэт, пока Волошин справедливо забытый!

Так вот в единственном машинописном экземпляре лежали на столе в мастерской « Сочинения » Волошина — не решаюсь назвать, чьим трудом подготовленные, хотя все, кому надо, и так знают, — и пришел черненький щуплый студент Миша Г. и стал проситься читать. А Мария Степановна как раз была не в духе.

— Я даю читать сочинения Макса, но только своим знакомым или уж знакомым своих знакомых. Вы понимаете, если бы ваша власть считала, что их можно читать каждому она бы их издавала для каждого. Так что я не могу допустить любого...

— Но, Марья Степановна, — возразил, не обидевшись, Миша, — вам не кажется, что я слишком молод для стукача ?

Развеселившись от наивности такого ответа, Мария Степановна усадила Мишу за стол с книгами. А через несколько дней его неотрывного чтения он уж ей интересен, и она рассказывает нам : оказывается, юноша — христианин и философ и один из самых глубоких собеседников за последнее время.

— Не пустым пришел к Максусу.

Она всегда считала, что приходят не к ней, а к Максусу. И жила она для того, чтобы продолжался Дом, а в Доме — Макс.

Однажды директор Дома творчества привел ей гостя настолько высокого, что не счел за нужное договариваться заранее. Гость был, помнится, заместитель министра культуры одной из социалистических стран, говорил хорошо по-русски. Пришел он с большим букетом. Когда сказали ему, что Мария Степановна у себя, готов был обождать, пока доложат. Словом, человек был не вовсе дикий. Но директору, сопровождавшему его, непонятно было, как это не убогочить иностранца немедленно. Он потянул замминистра за собой прямо к Марии Степановне в комнату. Мария Степановна, сидя у стола в кресле, разбирала с Мариной письма и фотографии. И хотя была в халате, но на стук отвечала : « Войдите », потому что чужих никого видеть не ожидала. Радостный директор представил ей великолепного гостя. Но на том его радость и кончилась, потому что Мария

Степановна руки не подала, цветов не приняла, а гнев свой вылила целиком на голову обалдевшего посетителя.

— Мне о вас не докладывали. Ну, спутника вашего я не первый год знаю. С него что взять — он человек темный. Но вы же, кажется, сейчас сказано было, культуры министр. Так как же вы позволяете себе так вот запросто ко мне являться! Я старуха глубокая, провожу день в халате, как мне удобнее, с приятельницей вот разборкой старых бумаг занимаюсь. Но без доклада ко мне и близкие друзья не входят. Хорошо, вы меня хоть за столом застали, а если вы вот так ворветесь, а я по немощи моей с утра, к примеру, на горшке сижу, каково вам будет при сем присутствовать?

Эти вот вспышки тяжелого несдерживаемого гнева и назывались в Доме «термидорчиками». И не всегда можно было понять, что именно привело Марию Степановну в раздражение.

Милая у нее была знакомая — молодая балерина из Большого театра Маша О. Маша утром делала на пустой веранде свои многотрудные экзерсисы, потом уходила с мольбертом в горы, а вернувшись с прогулки, старалась что-нибудь сделать для Марии Степановны: кофту ей вязала или кроила халат. Маша была на все руки. Раз взялась постричь Марию Степановну и обе остались довольны результатом, а все выражали свое восхищение. И одна дама, издавна Марии Степановне знакомая, из отдохавших внизу, то есть «у писателей», и значит, либо сама писательница, либо писательская жена, спросила Машу, не подстрижет ли она заодно и ее, писательницу, тоже. Выпрямилась тут Мария Степановна, глазами

сквозь толстые линзы сверкнула, и не сказала, а прямо-таки проскандировала :

— Она — Мария Александровна О., артистка Императорских театров. Я ценю ее дружескую услугу. Мне — да. И халат кроить, и волосы стричь. А вам за что ?

Как представить себе Дом без слабого голоса Марии Степановны? Что он без ее рассказов? Сколько нас перебывало там... Да записывал ли хоть кто-нибудь? Я, конечно, по всегдашней безалаберности ничего не записывала, только каждый вечер решала записать завтра с утра... Потому мне и боязно теперь воскрешать по памяти эти рассказы, хоть они и были слышаны не по одному разу. Лишь уже здесь, на Западе, сличив отгиск своей памяти с тем, как помнятся эти истории другим коктебельцам, заручившись их уверением, что все так и было рассказано, « один к одному », решаюсь я записать исключительной важности эпизод из рассказанных Марией Степановной — о последней встрече Максимилиана Александровича с Гумилевым, с которым они долгие годы были в ссоре.

— Лето это было 1921 года. И собрался Макс, не помню уже зачем, в Феодосию. Вернулся вечером, смутный и расстроенный. « Маруся, — говорит, — понимаешь, вздор какой, что бы это значило, никак я в толк не возьму. Видел я в порту сегодня Гумилева. Судно, битком набитое людьми, болталось у причала и вот-вот должно было отплыть. Я на него почти и не смотрел. И вдруг окликнули меня: « Максимилиан Александрович! » Я голову поднял. Среди толпы у борта

вижу — Гумилев, и обе руки ко мне тянет. А судно того и гляди отплывет. Я прямо взлетел по сходням. Кинулись мы с ним друг другу навстречу и обнялись. Слова друг другу не сказали. Обнялись только. И едва на берег соскочить успел — вот уже и сходни убирают. И странно мне : зачем это было надо, чтобы я с Гумилевым обнимался ? » А месяца не прошло, принес Макс клочок расстрельного приказа — сорвал с афишной тумбы в Феодосии : « Так вот зачем надо было, сказал, так странно нам увидеться и обняться... »

Однажды приехали в Коктебель какие-то московские люди, занимавшиеся реставрацией старых звукозаписей. С восковых валиков они переводили на магнитную пленку полуразрушенные следы голосов Блока, Маяковского, Багрицкого. Они долго колдовали над метрами треска и шума — вдруг оттуда выплывало :

« Девушка... пела... в церковном... хоре... »

Шел вечер. Звукореставраторы показывали нам и Марии Степановне — нет, конечно, Марии Степановне и нам — свои работы, вытянутые из вечности дальние голоса. Они ни о чем ее не предупредили, только сказали : « Эту запись было особенно трудно восстановить ». И вдруг затрещало, закудахтало.. Сквозь помехи техники и времени силится пробиться к нам какой-то голос, но все никак не мог оформиться в слова. Крутилась бобина, утекали минуты, а тень голоса все никак не могла воплотиться в ясную речь. Мария же Степановна пришла в необычайное волнение. Она вся подалась вперед — и силой ее встречного напряжения из темного сгустка звуков возник в

комнате вздрагивающий, вспархивающий, высокий, похожий на женский, голос :

...Не прикасайся до наших пожариц !

Прикосновение — смерть.

...Мы погибаем, не умирая,

Дух обнажаем до дна...

Дивное диво — горит, не сгорая,

Неопалимая купина !

Потом все очень ругали москвичей, что они не предупредили Марию Степановну и она от неожиданного переживания потеряла сознание. Но я была уверена, что она просто обессилела от мгновенной растраты внутренней энергии.

— Вот так, — сказала она несколько дней спустя, — после смерти Макса я все думала, как же мне жить ? И зачем ? И немного времени прошло... Я тогда часто ночевала на скамье возле его могилы... Дома сон совсем не приходил. А там засыпала. Ну раз увидела его во сне. То есть не знаю, как это сказать, увидела ли... Но он мне стихи принес, прочел. Я их помнила, когда проснулась, и записала дома. Стала сличать — может, старые какие стихи приснились, из тех, о которых не знаешь, что помнишь их. Все перебрала — нет таких стихов ! А ночные стихи — вот они. Каждому слышно : Максовы стихи.

Стихов этих я, к сожалению, не помню. Ну не помню совсем, ни полстрочки. Но ведь лежат они там, в Доме, записанные рукою Марии Степановны, с ее пометами... Как-то отнесутся новые владельцы к потустороннему наследию ? !

Так хотелось ей удержать в доме тень хотя бы ушедшей жизни. Вечером скажет вдруг :

— А Миша Булгаков какую однажды придумал шутку...

или :

— Раз мы были с Максом в Москве на спектакле Мейерхольтда. А я говорю : « Масенька, что ж тут такого ? Я уж все это видела на наших домашних спектаклях ».

И что ей были все наши скетчи и куплеты, газетки и карикатуры, когда, допущенная вместе с ней разбирать архив, я в первый же день наткнулась на стопку мятых листочков.

— Марья Степановна, это что ?

— А это буриме за разные годы. Играли в Доме. А играли Белый, Брюсов, Эренбург, Алексей Толстой, Аделаида Герцык. Я думаю, последние годы, да не годы — последние десятилетия, она горестно ощущала не только утраты, но и это измельчание людей и времени вокруг себя : все было не то, и все не те.

Власть коктебельская относилась к ней с опасливым уважением. Сад, который когда-то начинался с деревьев, посаженных Максимилианом Волошиным и его матерью Еленой Оттобальдовной, превратился к нашему времени в большой тенистый парк, единственный в скупом на зелень Коктебеле. Однако вход в него простым смертным был закрыт. Поскольку низ волошинского дома со всеми пристройками, добавленными когда-то, чтобы никому из многочисленных волошинских гостей не было тесно, принадлежал теперь Дому творчества писателей, постольку и сад считался их писательской собственностью, и неписателям никакой тени в жаркий день не полагалось. У каждой калитки торчали стражник или стражни-

ца, проверявшие пропуска. Но, как пропуск, работала и фраза :

— Мы к Марии Степановне.

Когда посетители, смеясь, рассказывали ей об этом, она говорила лишь одно слово :

— Стыдно.

Мозг ее был устроен как-то иначе, чем наш. Нам было смешно, и мы старались обойти запрет, найти дырку, обвести стражников. Мы уходили ночевать на Кара-Даг или ставили палатку в дальней бухте, зорко следя за приближением пограничных патрулей, чтобы вовремя смыться; мы обманом проникали за лишний полтинник в писательский душ, чтобы воспользоваться незаконно ихней писательской привилегией смывать без очереди морскую соль. Мы смеялись, а ей было стыдно. Стыдно, что ночью желтые лучи прожектора обшаривают море, беря в перекрестье купальщиков, что кусок берега можно огородить забором и написать : « Вход по пропускам », что душ и лежак на пляже есть не просто мелкое удобство, выдаваемое каждому за небольшую плату, а награда за успехи в социалистическом реализме. Мы с этим выросли и немало проявляли сноровки, обходя несильные, в общем, помехи. Но она, выслушивая наши смешочки, вдруг говорила : « Стыдно ». Не привыкла за столько лет.

Утром рано в августе шестьдесят восьмого забабанил в дверь нашего сарайчика Левка : « Вставайте ! Наши танки в Праге ». Мы пошли в Дом. Тревога и морской прибой смыли в этот день приторный курортный гам. У каждой скамьи на набережной стояло плотное кольцо, в центре ко-

того была вытянутая игла транзистора. По всей стране с первых минут вторжения уже вновь работали глушилки. Но в Крыму заглушка не так сильна. И теперь над притихшей набережной от скамейки к скамейке неся под аккомпанемент моря негромкий голос Анатолия Максимовича Гольдберга. На террасе нам сказали : « Не ходите к Марусе. Она радио слушает ». Она вышла потом все с тем же самым словом : « Стыдно », только на этот раз добавила : « Стыдно мне ». И кто-то из самых близких и давних возразил :

— Почему « тебе » ? Это не наше. Им стыдно.

Она ответила с видимым раздражением :

— Мое. И твое. Мне больше всех стыдно.

Чего она никак не ожидала и что было для нее источником дополнительной боли, так это то, что в ее доме, среди завсегдатаев и гостей, жуткая новость была встречена неоднозначно.

— Ну вот Алеша Д. Я и всегда знала, что не умен, звезд с неба не хватает. Но ведь я его маленьким помню, ведь он в Доме с каких лет. И ведь он добрый человек. А вот пришлось ему отказать от дома.

Алеше Д. было о ту пору под шестьдесят, и был он одним из скучнейших и добрейших моих институтских профессоров. Привычным нудным лекторским голосом он рассуждал в гостиной волошинского дома о фашистской опасности и необходимости превентивного советского вмешательства в чешские дела.

В лето семидесятого года Коктебель был особенно плотно забит. Обалдевшие от сумасшедших доходов, хозяева сдавали уже не только комнаты

и сарай, но даже койки во дворе под деревом. Дом нашей прошлогодней хозяйки был сдан весь, и она, смущаясь, что от жадности не дождалась нескольких дней, как было условлено, устроила нам ночлег у соседки — у той еще оставались места в сарае. Длинный сарай был поделен на три части занавесками. Нам досталась средняя часть, и, значит, две стены в нашем «номере» были из ситца. Всю ночь за ситцем кто-то харкал, храпел и сплевывал. Вредный пес во дворе облаивал каждую проходящую парочку, под утро трубно замычала корова, а петухи обменивались приветствиями из конца в конец поселка. И под эти петушиные арпеджио я встала в начале шестого часа, подивившись богатырскому сну мужа и сына, и отправилась поискать чего получше. На автобусной станции две женщины с чемоданами дали мне адрес, с которого они только что съехали, но сказали: «Только вам не подойдет, если с ребенком. Там и электричества-то нет и пол земляной».

Лачуги облупленной и бедней я еще не видала в богатом Коктебеле, где хватало хозяевам летних доходов и на жизнь, и на расширение дома, и на проведение газа и водопровода. Шура звали хозяйку, худую, мелкую старушонку в платочке, острым углом нависающем над разлинованным морщинами лбом, и с бровями, изгиб которых точно повторял остроугольную форму платка. Лампу хозяйка давала нам керосиновую — вспомнилась мне эвакуация; замок — амбарный. Пол глиняный — о котором я знала, что как его ни мой в жару, а через полчаса будет пыль стоять столбом, — обещала мыть два раза в неделю. Еще рукойойник во дворе, да чтоб ребенок в огород не лазал.

« Неказисто живу, — сказала Шура. — Через три дня получше найдете — съедете, небось ». Точно она у меня в мыслях читала. А чтобы этого не случилось, требовала она с нас все деньги вперед за целый месяц. Я вспомнила ситцевый рай и собачий концерт во дворе — и согласилась. Все-таки четыре стены, отдельный вход, напротив — маленькое кафе « Ветерок », а за углом — баня.

Едва устроившись, мы пошли в Дом.

Мария Степановна выслушала весь наш рассказ о ночи в сарае, Данькину болтовню о прекрасной керосиновой лампе, которая « сама горит, а не от выключателя », и мой лирический репортаж о бедной старушке, самой бедной во всем свихнувшемся от наживы Коктебеле, без электричества, без ведерка лишнего.. И вдруг сказала :

— Это вы на Стамова, возле бани, что ли, сняли ? У Шурки-домиком ?

Да, да, конечно. Платочек домиком, бровки домиком, ясное дело, иначе нашу хозяйку и звать не могли. Вот именно — Шурка-домиком.

— Ох, — сказала Мария Степановна, — уморите вы меня. « Бедная старушка ! » — Тут она собрала всех, кто знал коктебельские дела, и, смеясь, потешаясь над нами, огорчаясь, что мы дали такого маху, рассказала им про наши приключения, особенно зло высмеивая головоотяпов, которые спешат отделаться от собственных денег. — Эта Шурка-домиком первейшая здесь была скандалистка и распутница. Бабы раз, у которых она мужей поотбивала, чуть ее не прикончили. У меня и пряталась. Дети да зятья ко мне жаловаться приходили — всех стравила, всех перессо-

рила. Ну а теперь, хоть и стара, а пьянчуга первая. Пока деньги ваши все не пропъет — держать будет, ну а пропъет — выгонит. И хоть бы вы посоветоваться пришли, я ж тут весь поселок знаю, я тут сколько родов приняла, сколько ран после драк перевязала, здесь десятки лет, кроме меня, медика-то не было. И, пока ноги носили, а глаза смотрели, я и лечила весь поселок.

Хватало, видно, у нее сил сразу двойным временем жить : минувшим, максовым, и этим, пустым для нее, но призывавшим на помощь к дерущимся мужикам, к их беспомощным роже-ницам.

Вечером Шурка-домиком, выпивши, но не очень, причитала мне :

— Ой, да зачем же вы так меня опозорили. Приходят тут, стыдят. Ты, говорят, зачем волошинских гостей обобрала. А я ж не знала ! Вы сказали бы — с волошинскими и разговор другой. А деньги я уж все отдала — долг у меня был, и отдала сразу. Да не бойтесь вы, живите, сколько хотите. Я Марии Степановны друзей обидеть не могу. Я Максимильян Алексаныча еще как помню. Кто Марусю без него обидит, с того не на том, на этом еще свете спросится... И мальчик ваш, если персик или вишен, пусть с дерева рвет, сколько хочет...

Две недели спустя первые вести о холере доползли до Коктебеля. Говорили, что Севастополь закрыт, и Одесса уже закрыта. Милиция и санитарная инспекция разогнали самодеятельный кемпинг, свалили в кучу весь мусор, безмятежно прежде носившийся по побережью, и самые следы

палаток выжигали огнем. Накрылся живой хозяйский бизнес — дрались в очереди за билетами, переплачивали втридорога и смывались дачники. Комнату задешево можно было уже выбрать любую, да не тут-то было : хозяйкина предусмотрительность держала нас цепко.

Холера подступила уже к Феодосии. И опустел Коктебель совершенно. А мы не трогались с места. Куплены были заранее обратные билеты, а на другие денег не было. Да и не хотелось нам. Пуст и прекрасен был пляж. Опустели лежбища загоральчиков в бухтах. В маленьком безлюдном кафе можно было поесть за пять минут. В дальних прогулках не мешал вой транзисторов. И когда спускались мы с перевалов — вырез бухты с каждого поворота открывался по-новому, как будто проходил перед глазами ряд волошинских акварелей. В безлюдье острей, чем всегда, ощущалось драматическое напряжение Кара-Дага. Точно мы застали немую сцену каменного спектакля. Проходя Садам чудес, мы не находили странным, что местная традиция назвала садом чудовищное нагромождение скал. Не напрягая воображения, мы узнавали в сброшенных древней земною страстью камнях Льва, Ивана-разбойника, Короля в мантии, Черта и отдельно стоящий Чертов палец. Внизу, в воде, торчала хмурая скалистая арка и несомненно было, что да, что правильно — « а там между камнями вход в Аид ». Задержавшиеся в холерный август в Коктебеле радовались тишине и безлюдью. Мстительно отмечали подобострастие недавно наглых хозяев, небывалую дешевизну рынка. В Доме тоже поредело, уменьшилась суета. Считанные постояльцы собирались уезжать до

сентября, а в сентябре гостей совсем не предвиделось — Крым был для въезда закрыт.

Четыре месяца в году была жизнь ключом в Доме. Встречалась Мария Степановна со старыми друзьями, узнавала о переменах, замужествах, смертях. Как ни противилась, а каждый год, каждое новое лето приносило и новые знакомства. И она удивлялась и радовалась, что после стольких лет одичания приходят не только друзья Макса « в поколение », но и читатели его « в потомстве ». И так четыре месяца в году.

Но раньше обычного наступил разъезд. И то, что всегда было известно, стало теперь ощутимо. За пределами летней утомляющей праздничной суеты Мария Степановна была одинока. И так много лет. И уже много лет, как к одиночеству добавилась немощь. Сто мест было в России, куда звали ее провести зиму, — рады были бы друзья в Москве, в Ленинграде, в Харькове, в Симферополе. Но Дом оставить было невозможно надолго — и осенние штормовые ветры, и зимние холода Мария Степановна коротала одна. Редки и желанны были зимние гости. Проходила, ночевала в Доме группа геологов. Сидели ребята за столом, рассказы слушали, листали альбомы и оставляли после себя собственного изделия вальс :

Нам голосом юным
Хозяйка седая
Старинную песню поет...

На Рождество Мария Степановна зажигала в Доме свечи. За каждого, кто бывал когда-либо в Доме и умер уже. За Марину — свеча, и за

Сережу Эфрона — свеча, и за Белого — свеча, и за Мандельштама — свеча, и за Эренбурга, и за Маршака, и за Булгакова, и за... Много, много свечей. С каждым годом все больше.

— Да я уже привыкла одна. А что холера пришла, так что ж. Когда-то ведь надо платить. Не только ж брать, рвать, хапать, захламлять и уродовать землю. И никогда ничего не давать, и ни о чем впрок не думать, и ни в чем себя не ограничить. И долгов своих не считать природе. И о возмездии не помышлять. Самое даже слово такое забыть. Теперь вот опомнятся немного, если сумеют. Ты купи бутылъ здешнего вина красного и пейте в день по стакану, и мальчику тоже полстакана в день. Эта кислота убивает микробов. Так болгары-виноградари полагали. И вроде не болели в холеру.

А следующие года жизнь наша пошла совсем по-иному. Уже решен был отъезд, и получен отказ. Три последних года в России были для меня — годами прощания. Я еще жила в привычном, дружеском мире, а уже точно носила с собой мелом очерченный круг. И он отделял меня от друзей. Им — оставаться, мне — уезжать. Город, в котором мне были знакомы не только улицы, но все повороты весны и осени, все закоулки лета, стал почти чужим — я уже видела его без себя. А в душе я точно носила измену. Я не то что радовалась, но не противилась в душе оттяжке отъезда. Я была виновата в том, что, согласившись уехать, не готова была уезжать. А перед теми, кто оставался, я была виновата, что соби-

ралась уехать. И впервые в жизни я приехала в Коктебель в мае, — и одна.

Я знала восточный Крым высохшим и желтым, а теперь увидела его цветущим. Бело-розовыми шарами казались плодовые деревья. Влажная трава покрывала горы, и ярко-красным по зеленому были разбрызганы кривые мелкие маки. В самом поселке шло какое-то кипящее цветение. Мыльной пеною через борт лохани свешивалась с каждого забора белая сирень. До жары еще было далеко. И впервые все дальние прогулки оказались близки, все тяжелые горные переходы — легки. Одна обошла я всеми знакомыми тропами и перевалами майский, новый для меня, Коктебель, прощаясь. А в Дом не ходила. С набережной можно было разглядеть, как сидит Мария Степановна в плетеном кресле на веранде, иногда одна, иногда с кем-нибудь. Ей меня не видно — и хорошо. Что я ей скажу? И у кого больше прав осудить меня за намерение отъезда?

А летом пришла от приятельницы из Крыма открытка: «Марусе известно, что ты весной была в Коктебеле. Здесь секретов нет — ты же знаешь. И она обижена: «Что ж она так обо мне думает?!»

Оставался нам в России еще год. Замечателен он был тем, что тяжестью своею и чудовищными происшествиями как раз довел меня до внутреннего прития идеи отъезда. Пережить еще одну черную ленинградскую зиму — невозможно было себе и представить. Дети наши, почти брошенные родителями в жутких зимних хлопотах, болели напропалую. И врачи весной велели ехать на юг. Юг я знала только один — Коктебель.

Так вышло, что, несмотря на непонимание и упрямство, я смогла еще раз увидеться с Марией Степановной и говорить с ней. Она уже знала о наших делах от знакомых, но потребовала подробного рассказа. И опять я услышала: «Что с людьми делают — стыдно слушать, ох, как стыдно!»

Через две недели приехал муж, привез разрешение. И мы пошли в Дом прощаться. Уже несколько дней Мария Степановна была больна, и к ней никого не пускали. Мы написали записочку и хотели уходить, но она нас позвала. Лежала в постели, говорила с трудом.

— Ну вот, дети, своего добились. И уезжайте. Рада за вас. Да ты плакать-то перестань, первая ты, что ли, отсюда уезжаешь? Муж решил как надо, ну и иди за ним. Ему виднее, где детей растить. Всю жизнь радовалась, что у меня детей не было — только Дом. Вот беда — и накричать-то сил нет. Здесь уже шестьдесят лет нет жизни, и еще сто шестьдесят не будет. Ты Некрасова читала: «Сибирь так ужасна, Сибирь далека, но люди живут и в Сибири». И там, в Израиле, уж давно люди живут. У меня у самой там, знаешь, близкие есть. Силы были бы — в гости б съездила. А что? Коктебельцы есть всюду. Ну, идите, перекрещу я вас на прощанье.

Вот тогда-то она и сказала:

— Пиши мне так: Крым. Коктебель. Дом Поэта. Волошиной.

1977. Париж - Тель-Авив

Игорь Голомшток

ВСТРЕЧА

Доклад, прочитанный И. Голомштоком на конференции Биеннале в Венеции, назывался «Официальное и неофициальное искусство при тоталитаризме». Докладчик исходил из своей концепции стадийности развития тоталитарного искусства: оно начинается в идеологии революционного художественного авангарда, проходит промежуточную стадию (в России это творчество крупных художников второй половины 20-х годов — мастеров ОСта и Октября, в Италии — группы «Новеченто» *) и, с утверждением тоталитарной диктатуры, достигает законченной формы (самые яркие его образцы — сталинский социалистический реализм и искусство национал-социалистического реализма в гитлеровской Германии **). Из этого доклада мы публикуем небольшой отрывок.

...В 1928 году на венецианском Биеннале Советский Союз был представлен огромным художественным отделом, включавшим в себя 266 произведений. Советский представитель на этой вы-

*) «НОВЕЧЕНТО» («Наш век») — художественная группировка, которая с 1923 года начинает играть все большую роль и вскоре становится ведущим направлением в искусстве итальянского фашизма (ее выставки открывал сам Муссолини). Главными темами ее мастеров (Марио Сирони, Франко Джантилини, Акиле Фуни и др.) становятся труд, спорт, прославление силы, бодрости, физического совершенства «нового человека» и вдохновителя его побед — дуче; их стиль монументального героического реализма был очень близок стилю ранних Дейнеки, Пименова, Самохвалова и др. современных им советских художников.

***) Подробно см. об этом: И. Голомшток. Язык искусства при тоталитаризме — «Континент». № 7, 1976, стр. 311-391.

ставке, известный искусствовед Борис Терновец, опубликовал тогда в журнале «Искусство» большую статью с обзором реакции на советское искусство итальянской, главным образом фашистской, прессы того времени. «Можно утверждать, — пишет Терновец, — что ни один из иностранных павильонов не оказывал такой притягательной и возбуждающей силы... Фашистская пресса вынуждена была признать, что советское искусство сильно своим единством и своей содержательностью» 1). И далее Терновец приводит многочисленные высказывания. Так, отмечая как положительный факт политическо-пропагандистский характер советского павильона, газета «Ведетта фашиста» (название ее можно перевести как «На фашистском посту») писала тогда: «Павильон СССР с художественной точки зрения сделал решительный шаг вперед и теперь ведет, на глазах у публики, политическую пропаганду своими большими, полными силы, насыщенными цветом полотнами. Искусство, которое ошеломляет и опутывает» 2). Джузеппе Галасси, по словам Терновца «известный фашистский критик и журналист», писал: «Сильнее чем уголки своей бесконечной родины, художники большевистской эпохи сумели почувствовать новую жизнь, стремящуюся преобразовать, вплоть до первоначальных ячеек, весь характер их общества; они пытаются оставить нам ее адекватное и убедительное отображение. За это приходится воздать хвалу

1. Б. Терновец. Итальянская пресса и советский отдел на XVI Международной выставке в Венеции. — «Искусство», 1928, стр. 93 и 98.

2. Там же, стр. 105.

русским и тем в большей степени, что в этой попытке связать искусство с современной жизнью они кажутся почти одинокими». «Вот почему, — продолжает фашистский критик, — среди иностранных павильонов русский павильон кажется нам в этом году особенно заслуживающим внимания». И Галасси заканчивает свою статью мыслью о близости советского искусства к творчеству молодых итальянских художников группы «Новеченто» 2). Уго Неббиа писал тогда о «серьезности формы и замысла этого возрождения русской реалистической живописи, дисциплинированной, без сомнения, на службе режиму, с явственной целью пропаганды происшествий, типов и характеров новых времен и не теряющейся больше в абстрактных и чисто формалистических поисках» 3). И даже Маргерете Саффати — тогда видный критик, член фашистской партии и личный друг Муссолини — при общей негативной оценке выставки отмечает «четко выраженную художественную убедительность «Обороны Петрограда» Дейнеки». Подобные высказывания фашистской прессы за 1928 год можно было бы и продолжить. Следует обратить также внимание и на фразеологию этих оценок, очень близкую фразеологии тогдашней советской критики.

Такому сродству оценок фашистской и советской печати не следует удивляться. По сути, на венецианском Биеннале 1928 года встретились культуры двух тоталитарных режимов: советского и фашистского. И, надо сказать, советский

2. Там же, стр. 108.

3. Там же, стр. 104.

режим к тому времени уже гораздо дальше продвинулся по пути тоталитаризма. Отсюда и возгорги фашистской прессы, не без оттенка зависти, не только перед стилем советского искусства, но и, в первую очередь, перед его подчиненностью интересам государства в степени, которая в Италии тогда еще не была достигнута. Я приведу еще одну выдержку — из статьи «Искусство и жизнь» генерального секретаря XVI Венецианского Биеннале Антонио Мараини, опубликованной в римской газете «Трибуна» от 24 декабря 1928 года. Мараини пишет о том, что система советских государственных заказов на искусство произвела сильное впечатление на итальянских государственных и политических деятелей: «Этимi средствами, — пишет он, — советская власть привязала к себе художников, пробудила в них интерес к жизни страны, создав вместе с тем собрание картин, которые через 10, через 100 лет будут иметь историческую и, возможно, художественную несравненную ценность. Почему то же самое не может быть приурочено Италией для грядущих поколений? Почему искусство не может запечатлеть жизнь этих замечательных лет? Быть может из-за недостатка доверия к художникам, из боязни, что старики прибегнут к отжившим формам, а молодые используют заказы как повод к непонятным живописным и пластическим поискам? Но существуют ведь средства избежать этих опасностей и направить, и координировать работу, заставляя искусство быть мощным призывом, воздействующим на всех. Самое важное — это начать дело широко, великодушно, с ясным сознанием целей и желанием их

достижения. И тогда государство сможет дать толчок сближению искусства и жизни гораздо более действенными средствами, чем обычные жалкие покупки на выставках» 1). Таким образом на венецианской выставке 1928 года советская и фашистская художественные идеологии встретились. увидели друг в друге собственное отражение и обменялись опытом.

Во втором номере журнала «Искусство» за прошлый, 1977 год, появилась статья Р. Жердевой «Из истории первых зарубежных связей советского искусства», в которой автор, доказывая широкое признание советского искусства за рубежом, строит свое доказательство почти целиком на цитатах из фашистской прессы 1928 года, извлеченных из статьи Б. Терновца. И если этими высказываниями можно подтвердить престиж советского искусства за рубежом, то таким престижем едва ли стоит гордиться.

1. Там же, стр. 110.

**«ВЫЗОВ» И «ПРОВОКАЦИЯ»
КАК ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
ДИССИДЕНТСТВА**

Солженицын в «Бодался теленок с дубом» и Синявский в «Голосе из хора» рассказывают нам, как они нарушили молчание. Нарушение молчания всегда и во всех обстоятельствах есть акт индивидуальной воли, но в данном случае, в контексте избыточного (идеологического) слова и избыточной немоты (молчания бывших зеков), этот акт — нарушение молчания — становится «выходом за пределы» во всех смыслах. В моем сегодняшнем докладе я хотел бы показать, что нарушение это не имело бы успеха, если бы оно не покушалось на речь подавляющего большинства, не ломало бы прежнюю речь, иными словами — если бы оно не сумело бросить вызов противнику не только политически, но и эстетически.

Одним из препятствий здесь был левацкий авангардизм 20-х годов, или — ради простоты — Маяковский. Вы помните, что говорит Пастернак в середине своего «Автобиографического очерка»: «Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он неповинен». Искусство авангарда в целом было конфисковано сталинизмом, прежде чем уступить место пошлости сталинской эпохи. Можно сказать, что вольное слово отдало себя в услужение слову тираническому. И я не считаю свободными от вины ни Маяковского,

ни Мейерхольда. Художники 20-х годов, художники авангарда испытывали какое-то странное, но неодолимое влечение к Сталину. Пастернак и сам отчасти уступил этому гипнозу. Проницательный анализ этого явления дан в «Воспоминаниях» Надежды Мандельштам. «Ассирия» имела свои законы и правила, и одним из них была унификация как инакомыслия, так и «инакотворчества». С началом хрущевской оттепели начинается и осмотрительная реабилитация права на разнообразие в искусстве. Открыл этот процесс умелый фокусник Илья Эренбург — публикацией в «Новом мире» мемуаров «Люди, годы, жизнь». Эйзенштейн, Мейерхольд, Бабель и многие другие возвращались — хотя и под контролем — в число почитаемых. Но подконтрольный либерализм в эстетике, по самой природе своей, парализовал подлинное новаторство и обновление. Еще и сегодня, когда мы смотрим «Десять дней, которые потрясли мир» в театре Любимова, мы разрываемся, мне представляется, между двумя противоположными чувствами: восхищением перед формальной выдумкой и замешательством от того, что выдумка эта поставлена на службу тексту, практически не существующему, фальшивой и грубой поделке, за которой нет глубокого смысла. Это возвращение внешней эстетической свободы в язык литературы (В. Катаев), театра (Ю. Любимов) и кино (Андрон Михалков-Кончаловский) происходит параллельно с развитием диссидентства. Но оно не есть диссидентство, оно, скорее, его антипод. Вспомним, что говорит об Эйзенштейне старый зек X-123 в «Одном дне Ивана Денисовича»: «— Кривлянье! — ложку перед

ртом задерживает, сердится Х-123. — Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба насущного».

« Так много искусства, что уже и не искусство ». Я не думаю, что это еще один вариант русского презрения к « искусству для искусства ». Скорее это презрение к эстетическим новшествам 20-х годов, искусственно гальванизируемым в годы 60-е или 70-е. После Гулага нельзя читать Джона Рида теми же глазами, что раньше...

Чтобы понять диссидентство в литературе, нужно, на мой взгляд, прежде всего, понять, что все приходилось начинать заново, от нуля, что « литература остановилась » (как говорит Пастернак) и что необходимо было найти слово, достойное быть произнесенным. Первой реакцией переживших концентрационные лагеря было молчание. Первое после каторги письмо Достоевского брату Михаилу (февраль 1854) тоже говорит о невозможности поведать невероятность испытанного. И поразительно, что еще много лет Достоевский говорит и пишет, как раньше; лишь с 1863 года мы начинаем ощущать те необыкновенные человековедческие откровения, которым он приобщился. Так и диссидент в литературе: это тоже писатель, который потаенно ищет свое верное слово в самом себе, в том обновленном внутреннем мире, о котором говорит Достоевский, в своем подполье. « Бодался теленок с дубом » начинается с портрета « подпольного писателя ». Подпольный он потому, что прячется, это ясно. Но в особенности потому, что в одиночестве пробивает свой путь под поверхностью изношенного, истоптанного языка. Этот опыт подпольного одиноче-

ства перед лицом языка ощутим во всех больших произведениях диссидентства. Он ощутим до боли в « Реквиеме » Ахматовой, в « Софье Петровне » (« Опустелом доме ») Лидии Чуковской, в « Фантастических повестях » Терца, в « Колымских рассказах » Шаламова. То, что два первых текста хронологически предшествуют диссидентству, ничего не меняет по существу : это тексты-предтечи, ищущие и находящие интонацию, которая соответствовала бы экзистенциальному опыту, почти что невыразимому и непередаваемому.

На мой взгляд, писатель-диссидент находит свой путь, когда восстанавливает смысл — наперекор обветшалому авангардизму, воскрешаемому после сталинской ночи, когда восстанавливает истину — наперекор « социалистическому реализму », который стер с языка весь ворс. Парадигматический пример тому — Солженицын. Он нашел свой путь, лишь б р о с а я в ы з о в , лишь отменяя обе расслабленные речи — речь грубо поработанного « реализма » и речь искусственно поддерживаемого « авангардизма ». Чтобы вновь отыскать смысл в человеческом слове, ему приходилось, прежде всего, вслепую искать потерянную и н т о н а ц и ю . Уже зек, который со своими четками в руках сочинял пародические стихи, упражнялся в вызове, в « провокации ». Автор же « Ивана Денисовича » уже нашел интонацию, которая его освобождала : это жаргон зека, служащий повествованию краткому, классическому в применении трех единств; это лирика со включением повествовательных стрóf; короткие лирические единицы, которые впредь станут эталоном его прозы; и общая атмосфера иронии по отношению к преж-

ней форме, в данном случае — к реалистическому рассказу на старый лад (« Утро помещика » Льва Толстого). Классицизм и жаргон, лиризм и литота ужаса, и все покрывается одной исполинской иронической метафорой (чудится, что за самим « днем » приоткрывается зеку какой-то иной Хронос !): литературное оружие было найдено. Тот же вызов цементирует исполинскую прозу « Архипелага »: поэт зековской вселенной противостоит всем литературам прошлого, со всеми их « Одиссеями », со всей этой « Войной и миром ». Нужно собрать все, все усвоить каким-то образом и все уничтожить — только тогда прорежется собственный голос. Интонация, цементирующая это гигантское произведение, и есть как раз смесь лиризма, литоты и иронии, есть схватка со скептическим собеседником, вооруженным всем, что человечество создало ранее, но неспособным выслушать рассказ зека, хотя бы и самый короткий. Автор злится на этого собеседника, бесцеремонно тормозит его, дает ему надежного Ивана Денисовича в прожатые вплоть до круга последнего, подбодряет его тысячами укусов своей иронии. В самом деле: Солженицын ни на миг не забывает об этом глухом и неверящем, к которому он обращается и который остается пленником « показухи » — цивилизованным на старинный манер. И автор ведет его, чтобы, в конце концов, столкнуть с парадоксом, который трудно проглотить: только те свободны, кто прошел сквозь ад этой неволи. В ответе на « Теленка » Владимир Лакшин протестует против « панзекизма » Солженицына, возмущается черствым его упорством, дивится его неблагодарности по отно-

шению к « Новому миру ». Реакция Лакшина объяснима, но она показывает, что он остается по ту сторону диссидентского мятежа, основанного на двух непреложных требованиях: говорить то, что не укладывается в слова, и — чтобы достало сил это исполнить — найти, для начала, интонацию вызова, которая послужит детонатором.

Несомненно, есть среди диссидентов писатели, остающиеся за парашютом, который хотел бы сохранить Лакшин (а скорее всего, и Твардовский тоже). Пример — свидетельство Евгении Гинзбург, глубокое и волнующее. Но те, кто взломал лед, нашли сперва средство взорвать всю предшествующую эстетику — не только Симонова, но и Маяковского. В своей знаменитой статье « Что такое социалистический реализм? » (1958) Синявский-Терц дал удивительно точный прогноз. Возможно, писал он, что наше искусство станет фантастическим и абсурдным. К той же важнейшей мысли он возвращается в статьях, которые появились в первых номерах « Континента » (преимущественно — в статье « Литературный процесс в России »): писатель, истинный писатель, « диссидент » — это еврей! Иначе говоря — замаскировавшийся враг, русский, но не совсем, русский — « провокатор »; и этот писатель-жид становится на четвереньки и воет на луну. Никто в русском диссидентстве не подчеркнул с такой силой, как Синявский, scomорошью наготу писателя-диссидента. Он гол, как клоун; все, что ему остается, — это кривлянье. И кривлянье Абрама Терца возмущает эмиграцию не меньше, чем советского прокурора. Читательская публика, которая соглашалась с ним политически, поносит его за вызы-

вающую эмансипацию — неуважение к табу языка и культуры. Я убежден, что отвращение, — хотя и скрываемое, — вызывает и Солженицын: ни его грубость, ни язвительная насмешливость, ни обращение к жаргону не могут быть приняты до конца, как об этом позволяют судить статьи в эмигрантском « Новом журнале ». Но восстановление ценностей, к которому приходит Солженицын в заключение гулаговской одиссеи, его « Благословение тебе, тюрьма ! » лучше согласуются со старыми критериями, потому что (совершенно новыми путями) он приходит к примату этического, тогда как у Терца-Синявского пребывание в « мертвом доме » приводит ко « второму рождению », но уже не этического, а эстетического порядка, я бы даже сказал — « кинэстетического », иными словами, приводит к примату искусства. « Искусство одержимо таким чувством реального, какое и не снилось людям практической жизни » (« Голос из хора ».)

В лагерной аскезе Синявский обретает мандельштамовскую « полноту », чувство « осмысленности бытия ». « Хор » зеков, чеченские песни, записанные автором, сортирные надписи в пересыльных тюрьмах — весь этот контекст, столь разнородный, на первый взгляд, образует « иную » культуру, « иной » контекст, из которого выходит лирическая песнь пустой страницы, « крохотный поплавок » на морской глади бытия. Этот поплавок — искусство, и он должен нырять резко и внезапно по какой бы то ни было причине. Уже сам « способ производства » искусства у Терца вызывающий. Он не имеет ничего общего с « квартирой-музеем », где оттачивалась художественная

проза минувших времен. Он неслаженный, беспородный, скомороший, он чуть ли не радость испытывает от соприкосновения со смертью, с мертвыми (« жмуриками »).

Этот возврат к святине неисповедимыми путями Гулага в высшей степени показателен. Я не думаю, чтобы надо было здесь делать исключение для книг Терца о Гоголе и Пушкине, тоже до крайности вызывающих. Их пишет еще все тот же Терц, то есть зек, добровольный еврей, « предатель ». Он разрушает академическую традицию, он низвергает академически-литературных « идолов », которые свирепствуют повсюду, даже на лекциях профессионального агитатора в лагерной зоне. Пушкин — стилистические экзерсисы, под которыми пустота! Гоголь — арсенал призраков, поднятых против смерти! « Реализм — это черная месса и ворожба новейшей марки, это автоматы и трупы, имеющие вид человека, управляемые из ада по радио... », искусство — шаманство, то есть эрзац святости. Мне кажется, голос Синявского останется « диссидентским » навсегда — по определению. Это крик против нечистого союза академической гигиены и машины Гулага.

Даже у Солженицына, по-моему, на первом месте стоит интонация человека из подполья. Встреча с неизречимым сама по себе ведет к немоте. Выходя из этой афазии, писатель-диссидент обнаруживает новую манеру речи, которая ведет его назад, к жизни, через корчи и судороги. Возможно, нечто подобное было с дадаистами после Первой мировой войны. Но утрата слова не была тогда столь полной, ни, соответственно, обретение слова — столь неистовым. Будучи частью

гулаговского опыта, это обретение слова должно было, очевидно, шириться, расти. И в самом деле, существует обильная литература абсурда (например, «Диссанглие от Марии Дементной» Бокова, он же Никто), существуют советские ионеско.

Но значительная часть этой литературы абсурда пуста и бессильна, потому что непомерно уступает искушениям формы. Даже бесформенное, даже литература помойки может обладать известным «эстетизмом». Для меня диссидентская литература означает, в первую очередь, литературу смысла. Позволю себе сослаться здесь на две книги, которые мне представляются доподлинно диссидентскими, хоть и выросли из другой почвы, чем книги Солженицына и Терца. Я говорю о повести «Москва-Петушки» Ерофеева и «Солдате Чонкине» Войновича. Главный прием здесь — это вызов. Ерофеевский гимн пьянству вызывает в памяти «остановки» на пути к социализму из идеологической обедни. Все лозунги поруганы и осквернены, и алкогольное освобождение получает свое стилистическое соответствие в освобождении через непристойности и зубоскальство, через деградацию всей истории мировой культуры в речь и блевотину пьяницы. Что же касается Войновича, то он переводит историю и пропаганду на язык лубка и фольклора. Здесь кощунственное поругание выражается в раблезианском снижении. Солдатик Чонкин, в исключительно трудном положении, не теряет присутствия духа и спасает свою шкуру на манер героя народной сказки — благодаря тому, что владеет искусством перевода идеологической речи на грубое просторечье. Священная функция смеха вновь

находит свое место в этой среде, казалось бы непроницаемой для смеха и смертельной для юмориста. «Артист и шут Божий» — чудотворец...

В заключение я хочу сказать о книге, которая дошла до нас недавно и которая, на мой взгляд, подтверждает, что этот русский путь диссидентской литературы — сопряжение эстетического вызова, «провокации», со страстным поиском смысла — действительно существует. Речь идет об удивительном сочинении советского логика Александра Зиновьева «Зияющие высоты». В этой книге, не просто диссидентской, но, к тому же, своего рода шутовской «сумме» всех положений и позиций диссидентства, вызов поднят на уровень эстетической категории. Изображая все возможности приспособления к тоталитаризму, Зиновьев, в то же время, создает песнь освобождения через непристойность. Игра со сверхнаучным идеологическим жаргоном неизбежно завершается сквернословием. Вся советская жизнь, жизнь, погрязшая в мелочах бессмысленного этикета, невероятных тонкостях иерархии, в омертвевшем языке, преображена метафорически в «веселый дом» под вывеской «Ибанск». Зиновьев демонстрирует поразительное освобождение от власти лозунга. Он шокирует даже западного читателя, привыкшего знать меру и потому — оказывать молчаливое полууважение известным лозунгам. Ярость взрыва в этой книге сокрушает все и не щадит ничего. Однако главным образом вызов брошен лженаучности идеологии, тому жаргону социологов, который прикидывается логикой социальной жизни. Зиновьев разоблачает, выводит на всеобщее обозрение, загоняет в тупик пара-

докса «диалектику неподвижного», если можно так выразиться. Весь идеологический код налицо, но он разбросан по другим родам речи, лишен всякой логики: «Осторожно, вы уже в Будущем!» Зиновьев — ни утопист, ни анти-утопист. Просто-напросто он принимает идеологическую речь всерьез. Достаточно услышать то, что никто не слышит. Зиновьевская машина — вызов тем более «провокационный», что она похожа на настоящую идеологическую машину: она выдает вереницу штампов и банальностей, но только — вперемешку с кощунствами. Она производит «поэму Скуки», она наводит тоску, как жизнь без смерти, как «дурная бесконечность». Ее бесконечный винт впадает в Смерть — механизированную и стерилизованную, которая уже и не кажется выходом для конечных существ...

Зиновьев, как и Ерофеев, представляет собою пессимистический вариант диссидентства: верх берут «они», «их» язык побеждает («— Ты от нас? От нас хотел убежать? — прошипел один и схватил меня за волосы...»). Синявский, как и Солженицын, — при всех различиях между ними, — вариант оптимистический. Но как бы то ни было, русская диссидентская литература представляется мне строящейся по модели борьбы между языком отчуждения и упрямым кощунством. Свидетельство, само по себе, еще не создает диссидентской литературы. Все крупные диссиденты — «люди из подполья» в своем роде, или, как говорит Солженицын, глубоководные рыбы, вдруг вытащенные на поверхность. Лишь язык фантастики был способен выдержать перемену давления. И я думаю, что, с литературной

точки зрения, именно эта фантастика «осмысленности» зачаровывает утомленного читателя, иными словами — нас, людей Запада.

О ЧЕМ ПИШУТ?..

«Пора сплотиться перед новой реальной опасностью и угрозой. Если часть политического движения «диссидентов» имеет характер грандиозной провокации нового «Треста», имеющего целью борьбу с русскими патриотами, уцелевшими за рубежом и внутри России, то не меньше энергии тратят диссиденты и на борьбу с православной церковью... Первая и вторая эмиграция боролись в тяжелых условиях. Диссиденты уверяют, что они, якобы, тоже гонимы. Я лично знаком почти со всеми известными диссидентами. Большинство — разыгрывает, за плату, комедию «демократического движения» для иностранных журналистов. Роль КГБ в этой комедии колеблется от наблюдателя до организатора. Пользуясь покровительством КГБ, диссиденты в лагерях не работают и даже получают посылки. Комедианты «демократического движения» часто гнушаются арестантской баланды, предпочитая шоколад и черную икру из посылок. На русских заключенных эта привилегия, конечно, не распространяется...»

Александр Удодов. «Наша страна»
(Буэнос-Айрес), № 1400

ИСКУССТВО И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Я хочу прежде всего поблагодарить организаторов Биеннале, поблагодарить за эту встречу интеллектуального Запада с диссидентами Советской России и Восточной Европы. Лично мне было особенно дорого и приятно встретить здесь Альберто Моравиа. Хочу напомнить, что Альберто Моравиа, в числе других западных писателей, одним из первых выступил на защиту советских диссидентов. Я имею в виду судебный процесс над мной и Даниэлем. И я приношу ему, писателю, глубокую благодарность за эту помощь в беде.

Понятно, у всех у нас могут быть и должны быть разные взгляды, эстетические и политические. Но при всех разногласиях важна солидарность людей и особенно — для начала — солидарность и взаимопомощь писателей, каких бы воззрений и вкусов они ни придерживались. Только так и можно строить диалог и перекидывать мосты от одного общества к другому, от одной литературы к другой литературе. Не по партийному принципу, а на основе братства. Для начала — хотя бы — литературного братства...

Мне кажется, последнее время мы присутствуем при одном удивительном и довольно редком феномене. Когда длительный процесс изничтожения искусства и литературы в России вдруг обернулся перевернутой и вторичной их жизнью. Когда русская литература пошла отдельными, параллельными путями развития, независимо от контроля

государственной власти и общества. Наблюдая это явление, невольно ловишь себя на каких-то парадоксах. На парадоксах в самой постановке вопроса о литературе и искусстве.

Дело в том, что с появлением так называемой диссидентской или неподцензурной литературы, « Самиздата » и « Тамиздата », возникло множество аспектов и поворотов в решении этой общеэстетической проблемы. Они — эти повороты — как бы приоткрывают нам заново природу искусства и неожиданные, немислимые пути и судьбы его существования. И это не потому, что на каждом шагу создаются великие и прекрасные произведения, а потому, что искусство обнаружило вдруг свою необыкновенную живучесть. И мы всякий раз убеждаемся в этой живучести искусства на самом разнообразном и даже случайном материале. И это очень интересно. Интересно даже в научном отношении. Для исследователей — филологов или историков искусства. Представьте : искусство умерло. Всё вытоптано и выжжено. И вдруг оно потихоньку появляется на развалинах, на совершенно, казалось бы, непригодной почве. И спрашиваешь себя : что же всё это значит ?

Как в древние времена, литература, чтобы выжить, переходит на уровень рукописного существования. А поэзия, чтобы дойти до слушателя, уходит в песню. И оказывается, что фольклор не исчез, но, при известных обстоятельствах, его создателями и носителями могут стать и становятся круги интеллигенции. А рядом воскресают авторы, книги и традиции, сгинувшие бесследно или почти не известные новому поколению. Второй и усиленной жизнью начинают жить Михаил

Булгаков и Платонов, Малевич и Кандинский. Или, допустим, искусство абсурда, заложенное в России обэриутами, но так и не дошедшее в свое время до читателя. И всё это тоже составляет современный процесс. Ведь художественное состояние эпохи это не только то, что создается сегодня, но и то, что входит из прошлого в наше восприятие особенно интенсивно, преодолевая разрыв во времени и пространстве. Напомню, что Самиздат начинался с переписывания недоступных стихов Ахматовой и Пастернака. И вот уже Мандельштам и Цветаева сегодня становятся нашими современниками, поскольку им не довелось исполнить эту роль при жизни. А Набоков и Ремизов, посмертно, из эмиграции, возвращаются на родину как новое, сегодняшнее достояние. И возникает обмен ценностями между прошлым и настоящим, между Востоком и Западом, между оторванными друг от друга или оборванными ветвями культуры.

А в результате, даже на наших заседаниях, здесь, в Венеции, мы вновь и вновь возвращаемся невольно к вопросу о природе искусства и его происхождении. И выслушиваем, и высказываем различного рода теории на сей счет — от марксистских до фрейдистских, от искусства как средства коммуникации до искусства как запасного клапана или выхлопной трубы, дающей человеку и обществу выразить затаенные, скрытые устремления. И вдруг оказывается, что Пушкин и Лермонтов, Достоевский и Маяковский — это тоже диссиденты. А если расширить это понятие, то и всякий художник в истории нового времени тоже всегда « диссидент » по отношению к жизни или

какой-то устаревшей традиции. Диссидентство оказывается просто синонимом искусства.

По поводу всех этих концепций и аналогий можно много спорить. Но дело, мне кажется, не в правоте или спорности той или иной точки зрения. А в том, что эти точки зрения выявляются и заостряются, так что все мы снова и снова задумываемся над тем, что такое искусство, и над вытекающими отсюда последствиями. В этом смысле российское диссидентство, на мой взгляд, играет определенную роль фермента: оно будит мысль и раздражает восприятие одним уже фактом своего незаконного существования.

Когда в Советском Союзе судят писателей и сажают в тюрьму за книги, а западные писатели выступают в их защиту и спрашивают советские власти, как же можно судить писателей, то у властей на этот счет существует одна отговорка: «Да какие же это писатели! Это же не писатели, а — уголовники!». Когда я это впервые услышал, я, надо признаться, испытал не унижение, а чувство глубокой внутренней удовлетворенности. Еще бы! Искусство приравнивается к преступлению. И даже не к политическому, а к уголовному преступлению. Искусство приравнивается к воровству и к убийству. Значит, оно что-то стоит! Оно — реальность! И, может быть, на самом деле — искусство, всякое искусство, — это преступление? Преступление перед обществом. Перед самой жизнью... Так что же оно такое — искусство? И в чем его зло или добро?..

Словом, диссидентство ставит нас перед новыми, неожиданными проблемами даже в узко-эстетическом и философском плане. В этом множестве

аспектов, которые позволяют нам по-новому взглянуть на вещи, я хочу избрать лишь один пункт и немного на нем задержаться. А именно, меня особенно занимает тема *самоценности искусства*, которое и в воде не тонет и в огне не горит. Когда это наблюдаешь более или менее пристально появляются странное чувство и еретическая мысль, которую я и хочу высказать. Появляется ощущение, что искусство где-то выше действительности и важнее жизни. И это не потому, что оно возносится в какие-то заоблачные сферы. И не потому, что оно презирает малых сих. Я не имею в виду эстетизм. Наверное и он законен, хотя и мелок в этом общем превосходстве искусства над действительностью. Напротив, я имею в виду искусство, которое порой опускается до самых низин жизни и говорит о ней больше, чем та сама о себе знает. И всё же оно независимо от жизни.

На примере так называемых диссидентских произведений мы это видим. Искусство свободнее и сильнее и жизни, и самих авторов, которые создают эти вещи. И в этом смысле оно выше действительности.

Чтобы не впадать в излишнюю выпренность и философскую отвлеченность, я позволю себе в виде иллюстрации сослаться на один анекдот. Это анекдот об искусстве.

Дочь одного американского миллионера отличалась страстностью темперамента, широтою нрава и богатством воображения. Короче говоря, производила перманентную сексуальную революцию. И вот тогда, чтобы единственная дочка не впадала в окончательный разврат, старый миллионер за свои

доллары нанял актера, чтобы тот, так сказать, перевоплощался из одного любовника в другого любовника, в зависимости от капризов дочери. Сначала дочь миллионера захотела иметь в постели простого английского моряка. И актер прекрасно исполнил эту роль. Он ложился в грязных ботинках на ее кружевное одеяло, пил виски, курил трубку и непрестанно матерился. Вскоре он ей надоел, и она захотела обзавестись изысканным восточным принцем. И тот же самый актер сыграл роль принца, и она была с ним счастлива некоторое время. Но потом потребовала другого, пятого, десятого. И все эти невероятные роли и пожелания исполнял один актер. Так продолжалось довольно долго, пока однажды она не пошла в театр. Там она увидела своего возлюбленного на сцене и вдруг поняла, что во всех этих обличиях выступало перед нею одно и то же лицо. И тогда она ему сказала :

— Мильй, я не хочу больше ни английского моряка, ни восточного принца... Я хочу только тебя, одного тебя — в жизни...

— Ах, мадам, — он ей ответил, — то была сила искусства. А в жизни, в жизни — я импотент...

Я рассказал этот печальный анекдот — на тему соотношения искусства с действительностью — в том именно смысле, что искусство выше действительности.

Но не надо обольщаться. Лично я не считаю, что художественная работа, даже самая хорошая, повлечет какие-то решительные сдвиги и перемены в обществе. Мы здесь поговорим и разойдемся, мы напишем любые художественные произведения со всей выразительной силой, а обще-

ство все равно будет двигаться к своему светлому концу. В этом отношении я пессимист. А выражаясь советским словом, я не верю в воспитатель-

Конечно, мы все знаем, как влияет порой литература на поведение людей. Но мы не в состоянии учесть и регулировать это влияние. И слава Богу... Мне в лагере один старый уголовник поведал, что вором и бандитом он сделался, прочитав в семнадцать лет замечательный рассказ Максима Горького «Челкаш». Мы знаем, что из-за «Вертера» Гете некоторые молодые люди даже стрелялись. А другим молодым людям тот же «Вертер» помог спастись от самоубийства. Читая, глубоко читая поэму Лермонтова «Демон», можно стать мистиком. А можно стать — атеистом. Мой отец, например, читая Достоевского, из дворянской семьи ушел в революционеры. А я знаю мальчиков, которые, начитавшись Маяковского, из комсомольцев перешли в диссиденты. А можно под того же Маяковского расстреливать диссидентов.

Так что искусство обладает весьма обратимой энергией. Но, независимо от практических результатов, эта энергия сосредоточена в самом искусстве, в искусстве как таковом.

С другой стороны, чтобы нам не обольщаться, надо помнить, что человечество и человек прекрасно могут обойтись и обходятся безо всякого искусства. Без еды мы не проживем и без земли не проживем, и без полиции, и без промышленности. Среди этих институтов лишь одно искусство является занятием праздным и необязательным. Если бы мы, все писатели в мире, в одну минуту провалились в тартарары, ничего бы особенного не произошло. Один знаток социализма мне

как-то доказывал в тюрьме, что вообще всех писателей надо посадить в сумасшедшие дома, чтобы они не мешали человечеству жить спокойно и нормально.

Но теперь, в виде контраста к сказанному, представим не только нашу современность, но вообще всю историю человечества — без искусства... Не сидели бы мы здесь в Венеции. Да и не было бы Венеции. И не было бы Италии. И не было бы России. Не было бы и не сохранилось бы ничего в истории. Мы были бы как гунны, или как обры, которые прошли и сгнули, ничего не оставив, ничего не создав.

Поэтому я и думаю, что искусство выше и значительнее действительности. То есть, искусство — это самое ничтожное и ненужное, что есть на свете. И вместе с тем оно, искусство, включает в себе и соль и смысл всего, что существует, и всего, что происходит.

Откуда возникает такое противоречие, такая альтернатива? На мой субъективный взгляд, всё это объясняется тем единственно, что в начало мироздания, природы, истории, общества и любого существа — заложено искусство. В начале было искусство, а потом уже наступила действительность.

Здесь высказывалось мнение, что искусство это, возможно, сон, который необходим человеку, позволяя ему отдыхать и проецировать в образах свои помыслы и комплексы. После чего человек вновь возвращается к реальности. Мне хотелось бы перевернуть эту теорию. Разумеется, в виде гипотезы, в виде предположения, пускай и сомнительного. А что если искусство это и есть, по

сути, единственная реальность? А так называемая действительность это уже сон или, если угодно, надстройка над искусством. И без искусства, вне искусства действительность сама по себе ничего не значит и ничего не стоит. Не было бы никакой действительности, если бы не было искусства. И поэтому в виде реликтов или, как говорит советская власть, в виде диверсий, идеологических диверсий, противозаконно и преступно, искусство время от времени проявляется и дает о себе знать. Как язычки пламени из-под земли. И как художественная первооснова жизни. Как напоминание о том, что такое на самом деле история и что такое природа.

Вот один из возможных аспектов и одно из частных значений советского художественного диссидентства.

**ПОКУПАЙТЕ РУССКИЕ ГАЗЕТЫ
И ЖУРНАЛЫ:**

ВЕСТНИК РХД (Париж-Нью-Йорк-Москва),
ВРЕМЯ И МЫ (Тель-Авив), ГОЛОС ЗАРУ-
БЕЖЬЯ (Мюнхен), ГРАНИ (Франкфурт-на-
Майне), ДВАДЦАТЬ ДВА (Тель-Авив),
КОВЧЕГ (Париж), КОНТИНЕНТ, НАША
СТРАНА (Буэнос-Айрес), НОВОЕ РУССКОЕ
СЛОВО (Нью-Йорк), НОВЫЙ ЖУРНАЛ
(Нью-Йорк), ПОСЕВ (Франкфурт-на-Майне),
РУССКАЯ МЫСЛЬ (Париж), РУССКОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ (Париж-Москва-Нью Йорк),
СИОН (Тель-Авив), ТРЕТЬЯ ВОЛНА (Фран-
ция), ЧАСОВОЙ (Брюссель), ЭХО (Париж).

**ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
СОВЕТСКОМУ ПИСАТЕЛЮ
ВЛАДИМИРУ БОГОМОЛОВУ *)**

Уважаемый Владимир Осипович !

Вы написали превосходный роман « В августе сорок четвертого... » Он превосходит во всех отношениях, но есть в нем один аспект, особенно болезненно и остро задевающий меня и моих соотечественников : это польский вопрос и его конкретное решение на Виленщине летом 1944 года. Многие стороны этой проблемы в Вашей трактовке вызывают у меня возражения, и поэтому я обращаюсь к Вам с письмом в надежде, что, выразив в романе свою, авторскую точку зрения, Вы, быть может, согласитесь выслушать мнение Вашего польского читателя.

Мои слова не пустая вежливость, не лицемерный прием, когда сперва хвалят, чтобы потом резче ударить : я действительно высоко ценю Ваше перо, и я не одинок в этой оценке. Ваши рассказы « Иван » и « Зося », благодаря экранизации, известны в Польше почти каждому. В польской периодике печатались Ваши миниатюры о войне, которые потом вошли в сборники военной прозы. Вы принадлежите к военному поколению, война отразилась на Вашей судьбе, Вы умеете рассказать о ней эмоционально и остро, не взвешивая чувства на аптечных весах. Мы узнали Вас как правдивого гуманиста и человека,

*) Печатается с сокращениями. Полный текст в польском самиздатском журнале « Запис », № 1, 1977.
Перевод Вадима Меникера.

духовного близкого Польше (очевидное свидетельство тому — « Зося »). Мы видели, что Вы ощущаете всю тяжесть проклятого наследия эпохи беззакония — достаточно прочесть монолог бывшего бериевца из Вашего « Соседа по палате ».

О новом романе и его нелегкой судьбе мы слышали давно. Мы знали, что Вы рассчитывали на то, что после русского издания он быстро попадет и к польскому читателю. И мы ждали его с нетерпением; мы доверяли Вам и чувствовали, что роман может стать событием.

Он и стал событием, но нас, поляков, он удивил и огорчил. Я убежден, что переводить и издавать роман по-польски не следует. Это нанесло бы неисчислимый ущерб процессу нашего действительно искреннего сближения, то есть делу, которое должно быть столь важно для людей доброй воли по обеим сторонам границы.

Будь Ваш роман дешевой однодневкой — не стоило бы из-за него и копыя ломать. Но он превосходит (за исключением одного только польского аспекта), тиражи его растут, и сила Вашего таланта служит, к сожалению, злему делу, способствуя возникновению ложных понятий в сознании сотен тысяч читателей.

Вы отлично, преодолев стереотипы сенсационных повестушек, показали, как действует опергруппа советской контрразведки летом 1944 возле Лиды. Работа эта жестокая, кропотливая, опасная, не выбирающая средств. Цитирую одного из героев :

« Контрразведка — это не загадочные красотки, рестораны, джаз и всезнающие фраера, как показывают в фильмах и романах. Военная контрраз-

ведка — это огромная тяжелая работа... Четвертый год по пятнадцать-восемнадцать часов каждые сутки — от передовой и на всем протяжении оперативных тылов... Огромная соленая работа и кровь... Только за последние месяцы погибли десятки отличных чистильщиков, а вот в ресторане я за всю войну ни разу не был».

Так это и видишь у Вас. И любишь ты этот род войск или нет, а чувствуешь ясно: изображение настолько правдиво, насколько это сегодня возможно. Это уже заслуга внелитературная — Вы просто продвинули еще на шаг вперед наше знание о прошлом, переступив строго очерченную границу дозволенного. Говорят, это стоило Вам трудов: сфера эта не любит прямого освещения и охотно прячет свои тайны с помощью все тех же «красоток, ресторанов и джаза» — всего, что так приятно щекочет нервы.

Но этого мало. В короткой сцене у Сталина Вы преуспели в том, на чем сломалось несколько перьев, в том, что на жаргоне Ваших контрразведчиков называется «моментом истины». Ваш Сталин — это не карикатура и не панегирик. Мы видим политического деятеля и вождя, диктатора и сатрапа, который ломает все нормы во имя собственных идей и методами психического террора мобилизует огромные силы и средства на достижение целей, признанных им главными. А методы эти неэффективны, несмотря на страх, или скорее из-за страха, которым наполняет своих подданных генералиссимус — потому что небольшая группа специалистов, если ее не будут подгонять и не помешают, сделает в точности то, на что распоясавшийся сталинский волюнтаризм

направляет массы солдат и оперативников, с генералами, начальниками спецслужб и руководством НКВД, где все друг другу мешают и оказываются явно лишними. Это — пресловутая капля воды под микроскопом писателя. Малая деталь обнажает механизм всей системы. Вас можно поздравить — показать такое и довести до печати в 1974 году — поистине успех.

А теперь прошу простить меня за прямой вопрос: польский аспект в Вашем романе — это издержки, которые Вы сознательно решились понести, чтобы получить право на «момент истины»? Это обеспечение тыла для достижения свободы маневра на «главном» направлении Вашего романа? То есть — не впадаете ли Вы в нарочитую ортодоксальность именно в этом пункте ради того, чтобы Вас нельзя было бы обвинить в идеологической нечеткости? Если это действительно так, значит Вы все понимаете, во всем отдаете себе отчет, и попытка моего с Вами откровенного разговора с этого момента — бессмысленна. Ибо только Ваша собственная совесть может спросить у Вас: имели ли Вы моральное право на подобную калькуляцию?

Допускаю, однако, и такую возможность, что войдя в круг вопросов, связанных с Вашей биографией, но ставших уже историей, Вы просто поверили себе прежнему, восстановили свой прежний горизонт мышления молодого офицера, который знает то, что видит, а еще больше то, о чем постоянно слышит от начальства и пропагандистского аппарата. Такое знание упрощено до основных однозначных формул. Умещается среди них и формула «реакционного подполья» и «на-

ционалистических банд» — формула очевидная и неколебимая.

И на исходе тридцатилетия, которое для нас всех было порой глубочайших прочувствований и размышлений по самым основным вопросам, так как формула по-прежнему достаточна для Вас? Именно для ВАС?

Мне представляется это маловероятным, но, повторяю, я допускаю такую возможность. Обязан ее допустить, если уже на четвертой странице романа находим такую сноску: «АК (Армия Крайова) — подпольная вооруженная организация польского эмигрантского правительства в Лондоне, действовавшая на территории Польши, Южной Литвы и западных областей Украины и Белоруссии. В 1944-1945 годах, выполняя указания лондонского центра, многие отряды АК проводили подрывную деятельность в тылах советских войск: убивали бойцов в офицеров Красной Армии, а также советских работников, занимались шпионажем, совершали диверсии и грабили мирное население. Нередко аковцы были обмундированы в форму военнослужащих Красной Армии».

Это начало. А далее — монолог одного из героев: «Аковцы, устраивая засады, обстреливали на дорогах автомашины, убивали в первую очередь военнослужащих». Затем — документальный отчет о ликвидации аковской радиостанции и рапорт о подрывной деятельности представителей Лондонского правительства. В следующей части романа мы слышим разговор офицеров советской контрразведки о «бандах аковцев», а затем находим рапорт о столкновении с «бандой,

численно свыше двухсот человек, предположительно аковцев» и описание ликвидации этой банды. Это документы. Кроме того, связной сверхважной группы абвера, для обезвреживания которой проводится вся игра в Вашем романе, — бывший польский офицер Чеслав Комарницкий.

Владимир Осипович! Вы слишком опытный литератор и Ваш роман настолько продуман во всех деталях, что мне не нужно Вам доказывать и объяснять, что такой подбор и сочетание свидетельств и документов о польском подполье и о поляках вообще должно вызвать у Ваших читателей однозначное впечатление: польские подпольные организации занимались прежде всего антисоветскими диверсиями и не чурались сотрудничества с немцами. Не буду также убеждать Вас, что симпатичный, тепло обрисованный образ польской дамы, пани Гролинской, не может этого впечатления ни уравновесить, ни исправить, ибо здесь Вы включаете иную, эмоциональную сферу, которая к тому острому и сознательно одностороннему сведению счетов просто не монтируется. Эмоциональные свидетельства приятны нам и уже известны из «Зоси», но на этот раз гораздо важнее добросовестность и честность в главном и существенном.

Возможно, Вы возразите: но ведь было именно так, и мы, советские офицеры, так воспринимали тогда ваше подполье, такие отчеты писались... Согласен. Однако роман Ваш написан тридцатью годами позднее, и Вы отлично сумели использовать в нем оптику отдаленной перспективы, ставя ее в контраст с документальными свидетельствами тех дней. Ведь Ваш Сталин — это Сталин,

увиденный из нашего времени. Ни в коем случае не могли Вы так глубоко рассмотреть его тогда, в сорок четвертом — разве не так?

Итак, я возвращаюсь к моему предположению: отечественные проблемы Вы переосмыслили по-новому, а судьбы поляков, близких, казалось бы, Вашему сердцу, Вы законсервировали, вольно или невольно, в упрощенных формулировках сталинского времени и такими бросили на бумагу. Вы, возможно, в свою очередь, скажете: ведь я не писал книгу о польском вопросе, и вы, поляки, были нужны мне только как компоненты исторического фона. На это я отвечу: то, что для Вас второстепенно, — берedit наши старые, все еще незаживающие раны.

Когда-то Вы написали волнующий рассказ «Сердца моего боль», в котором вспоминаете своих павших и думаете о России, где «каждая вторая-третья семья оплакивает кого-то, кто не вернулся»... Мы уважаем ваше страдание, мы сочувствуем ему. Что же помешало Вам, полонофилу, отнестись с уважением к нашей национальной трагедии?

Владимир Осипович, мне кажется, что уже тогда, восемнадцатилетним солдатом, вы должны были хоть немного почувствовать, чем во время войны была для нас, поляков, Армия Крайова? С какой мощной вооруженной антинемецкой борьбой ассоциируются для каждого поляка эти две буквы АК, столь превратно и однозначно истолкованные в Вашем романе. Неужели не дошла до Вас — эхом или настроением — трагичность положения АК на Виленщине? Напомним на

секунду исторические реалии : это были как известно, польские вооруженные силы, подчиненные официальному, признанному польскому правительству в Лондоне, и действовавшие на территории, которая входила в состав бывшего польского государства, в то время, когда ни один мирный договор еще не определял окончательно наших границ. Я не уполномочен распутывать то, что так страшно осложнилось в судьбе людей, вчера еще считавшихся союзниками, а сегодня признанных врагами : была ли это большая и жестокая политика, наивные расчеты, простой обман, веления солдатского долга, отчаяние, растерянность, жажда мести?.. Я не намерен защищать все это оптом : в сплетении действий и противодействий делалось тогда все... даже и то, о чем пишется в ваших донесениях. Но это были лишь звенья некоей цепи причин и следствий. Годится ли так — полностью это игнорировать ? Ведь одним из звеньев цепи, самым ее началом — были решения и холодные расчеты деспота, поведение которого в главном для Вас аспекте Вы сумели осветить точно и оценить достойно. Так можно ли от второстепенного для Вас вопроса отделаться трафаретным ярлыком — « бандитизм » ?

Я знаю, что писать обо всем этом правду — задача трудная, может быть, в настоящее время для писателя невыполнимая. Но тогда позвольте поставить прямой вопрос, даже если он выходит за рамки литературной критики : а не могли бы Вы обо всем этом промолчать, как промолчали Вы о мыслях Сталина по поводу варшавского восстания, ограничившись высказыванием, что

« польский вопрос » для него был « пожалуй, самым сложным среди других ».

Что же касается нас, поляков, то мы научились молчать о трудных проблемах нашего прошлого и терпеливо ждать, когда настанет пора воздать им должное (хотя именно эти проблемы умеет рассматривать, постоянно к ним возвращаясь, один из наших самых выдающихся писателей — Тадеуш Конвицкий). Молчание — это в некотором смысле программа-минимум. Такая программа вытекает из понимания реальной ситуации, в которой мы живем. Но мы не хотели бы говорить самим себе неправду или слушать ее от других. А упрощенные, односторонне избранные фрагменты сложной правды, толкуемые как часть, заменяющая целое, — это и есть неправда. Мы должны обладать по возможности ясным и трезвым осознанием самих себя в прошлом и настоящем. Мне кажется, что самые ценные поиски современной советской литературы идут в этом направлении. И Ваша книга, пока она стоит на Вашей национальной основе, тоже служит этой цели. Почему же именно Вы *именно так* должны были написать о нас ?

Раз уж речь зашла о молчании : сначала я полагал, что единственно возможное — обойти Ваш роман молчанием. Однако главный редактор одного из наших литературных журналов *) выступил с жаркими похвалами по адресу романа. Указав на несомненные его достоинства, критик подкинул к концу также и « восхищение поль-

*) Ежи Путрамент, главный редактор еженедельника « Литература ».

скостью», сославшись при этом, конечно же, на пани Гролинскую. А в заключение, сообщая об успехе романа, критик прозрачно намекнул, что книга должна быть издана также и у нас. Мне это показалось уже слишком...

У меня, конечно, нет никаких доказательств — я только могу Вас заверить, что пишу это, как и всё в этом письме, искренне и с доброй верой: я пытался сопоставить свои чувства с чувствами возможно большего числа людей, читавших роман. И я утверждаю решительно, что мнение цитированного выше редактора — изолированное и единичное. Не принимайте его за мнение польских читателей. Польское издание книги принесло бы вред, который трудно было бы исправить, ибо по понятным причинам мы не могли бы себе позволить свободную дискуссию. Потому в обществе распространилось бы чувство оскорбления за несправедливое толкование вопроса, оскорбление тем более сильное, что его по необходимости пришлось бы прикрывать молчанием или ложной фразеологией. А какая же от этого польза?

Насколько мне сейчас известно, роман по-польски не выйдет. И это, пожалуй, самое разумное, что можно сделать.

Однако я знаю, что советские издания романа множатся, книга Ваша имеет огромный успех, ее читают и воспринимают с энтузиазмом всё, что она несет в себе; включая и то, что вызывает наше недоумение и беспокойство. Ваш роман уже живет своей жизнью, и Вы уже не можете на нее повлиять. Однако в Вашей власти решить, что будет с последующими изданиями. И каковы

будут Ваши новые книги. А Вы дали нам право предъявлять Вам самые высокие требования.

Надеюсь, что Вы захотите понять меня правильно.

С уважением.

Анджей Дравич

НАМ ПИШУТ :

«...а на каком основании вы пропагандируете белогвардейские, монархические издания, вроде журнала «Часовой»?!»

НАМ ПИШУТ :

«... как вы могли в объявлении периодических изданий поставить рядом имена журналов «Русское Возрождение» и «Сион»?!»

ОТВЕЧАЕМ :

Поставили по алфавиту : «Русское», а потом «Сион». Мы — не пропагандируем, но рекомендуем читать и знакомиться с различными взглядами и направлениями мысли, независимо близки они нам или чужды и враждебны. В этой связи, в порядке обзора русской периодики, мы намерены иногда цитировать высказывания, показавшиеся нам достойными внимания, — цитировать, не ставя отметок и не вдаваясь в подробности — с чем согласны мы, а с чем не согласны. Читайте — сами.

СИНТАКСИС

ЧИТАЙТЕ ЖУРНАЛ « ДВАДЦАТЬ ДВА » :

« Три рецензии в библиографическом разделе посвящены книгам, написанным за железным занавесом. Мы отдаем должное Хейфецу, Зиновьеву, авторам сборника « Память ». Мы преклоняемся перед пафосом их риска, гражданской и человеческой смелостью, стремлением к правде, заставившем их — в российских условиях — написать и издать свои беспредельно смелые книги. В этом стремлении к правде мы — с ними. Но именно уважение заставляет и нас, в свою очередь, говорить с ними так, как они того хотят и заслуживают — как с авторами, а не как с героями или, того хуже, с покойниками, о которых « либо хорошо, либо ничего ».

« Двадцать два », № 3, август 1978

Заказы по адресу :

« 22 » P.O.B. 7045, RAMAT-GAN, Israel

СИНТАКСИС № 1

СОДЕРЖАНИЕ : *Н. Рубинштейн* — Когда труба трубила о походе; *Юлий Даниэль* — Выше других; *Андрей Синявский* — « Темная ночь... »; *Лев Копелев* — О смертной казни; *Александр Янов* — Идеальное государство Геннадия Шиманова; *М. Каганская* — Отречение. От « Машеньки » к « Лолите »; *Абрам Терц* — Анекдот в анекдоте; *М. Рознова* — Возвращение. Памяти Галича.

СОДЕРЖАНИЕ

В защиту Александра Гинзбурга 3

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

А. Пятигорский. В сторону Глюксмана 5

Л. Ладов. Несколько мыслей о России, спро-
воцированных современными « славяно-
филами » 19

Олег Дмитриев. Не называя имен (интервью) 37

Андрей Синявский. Называя имена (коммен-
тарий) 48

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Наталья Рубинштейн. Дом без поэта 63
Биеннале — 77

Игорь Голомшток. Встреча 94

Жорж Нива. « Вызов » и « провокация » как
эстетическая категория диссидентства 99

Абрам Терц. Искусство и действительность. 111

Анджей Дравич. Открытое письмо советско-
му писателю Владимиру Богомолу 120

Журнал « Синтаксис » благодарит за материаль-
ную поддержку Альфреду и Мишеля Окутюрье.

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их
поводу редакция в переписку не вступает.

Цена номера 15 фр. франков.

Подписка в редакции на 4 номера — 50 фр. фр.

Пересылка за счет подписчика.

**АЛЕКСАНДРУ ГИНЗБУРГУ, редактору
первого журнала "СИНТАКСИС"
(Москва, Самиздат, 1959-1960),**

- посвящается!

